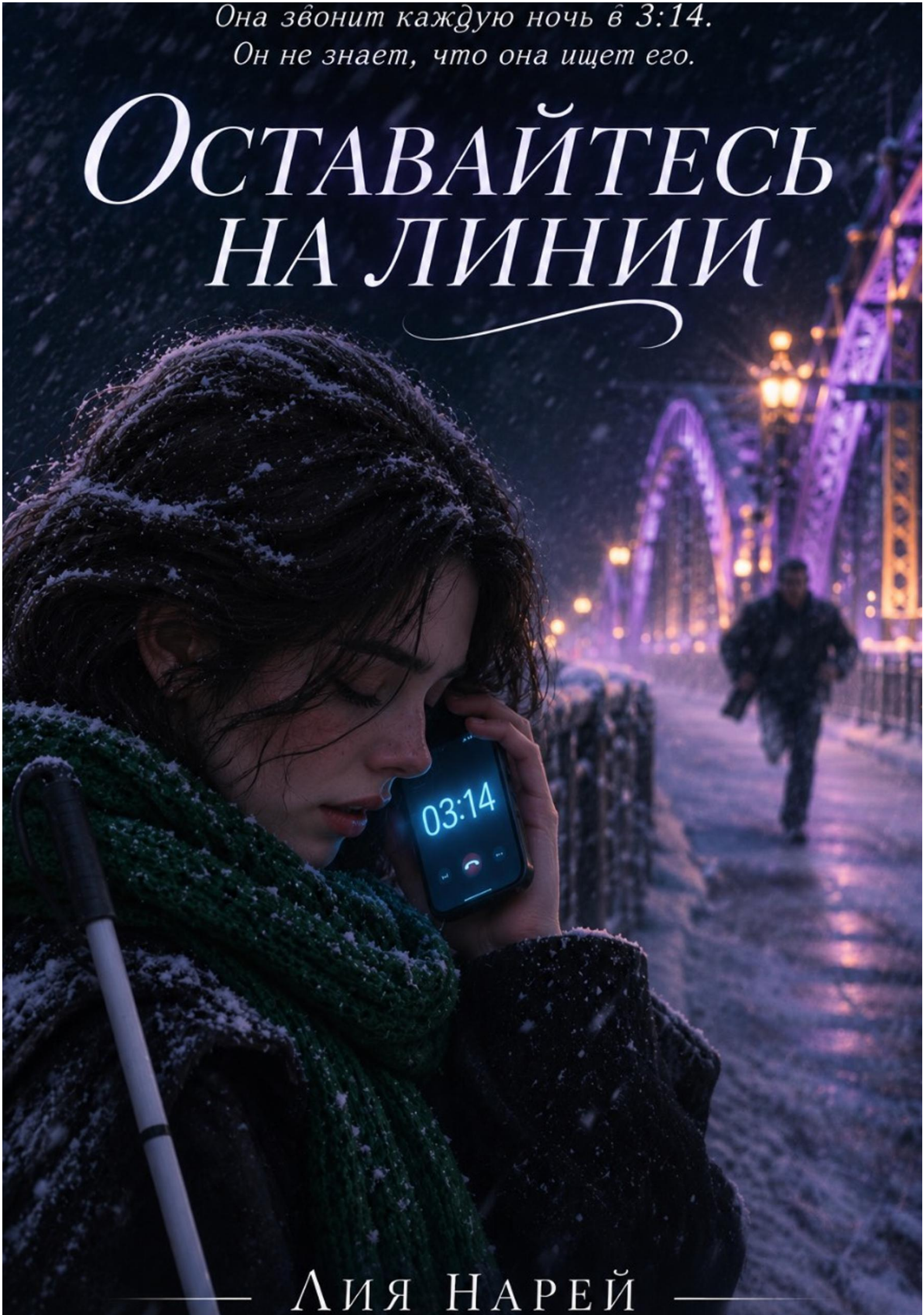
Она звонит каждую ночь в 3:14.
Он не знает, что она ищет его.

Оставайтесь на линии



Лия Нарей

Лия Нарей

Оставайтесь на линии

«Автор»
2026

Нарей Л.

Оставайтесь на линии / Л. Нарей — «Автор», 2026

Она звонит каждую ночь в 3:14. Он не знает, что она ищет его.Глеб — оператор службы 112. Он сидит в комнате без окон, принимает чужие беды и никогда не кладёт трубку первым. Однажды ночью ему звонит девушка: кто-то скребётся в её дверь. Это оказывается щенок. Но на следующую ночь она звонит снова. «Я не в опасности. Мне просто не с кем поговорить». Она не называет имени. Он не знает её лица. Каждую ночь ровно в 3:14 они говорят о звёздах, поездах и цветах, которых она давно не видела. Он описывает ей мир. Она учит его слышать.Он не знает, что она не видит. Она не знает, что год назад, в метель, на Канавинском мосту, именно его голос не дал ей уйти в темноту.А где-то совсем рядом живёт человек, который знает о той ночи больше их обоих.Роман о голосе, который держит, когда больше нечему. О выборе, который нельзя пережить. И о том, что иногда самое важное — просто остаться на линии.

© Нарей Л., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 6
Часть первая. Причина: не указана 11
Глава 1 12
Глава 2 20
Глава 3 29
Глава 4 36
Глава 5 43
Глава 6 50
Часть вторая. Абонент не отвечает 58
Глава 7 59
Конец ознакомительного фрагмента. 64

Лия Нарей
Оставайтесь на линии

«Никогда не вешай трубку первым».
Правило, которое Глеб Северин не нарушал ни разу

Пролог

Глеб

Карта вызова № 21-0314 · 17 января · 03:14 · Повод: ДТП · Пострадавших: двое

Метель начинается в половине третьего и к трём уже метёт так, что дворники не успевают.

Михалыч ведёт машину медленно, сорок километров в час, наклонившись к лобовому стеклу, будто так лучше видно. Не лучше. Фары упираются в белую стену, и стена движется на них — косо, быстро, без конца.

— Курорт, — говорит Михалыч. — Сочи.

Глеб не отвечает. Он сидит справа, держит на коленях планшет с картой последнего вызова и не может вспомнить, заполнил ли графу «время доезда». Давление двести на сто двадцать, дед на Ярмарке, восемьдесят четыре года, бабка в халате со свечкой в руке, потому что во всём подъезде вырубило свет. Гипертонический криз. Укол. Дед сказал: «Спасибо, сынок», — и попытался дать ему двести рублей. Глеб не взял. Бабка сунула ему в карман куртки яблоко, пока он надевал ботинки в темноте. Яблоко до сих пор там. Твёрдое и холодное.

Девятый вызов за смену. Без пятнадцати семь утра — пересменка. Ещё четыре часа.

Машина выезжает на Канавинский мост.

Глеб любит этот мост. Не любит — привык. Девять лет он ездит по нему туда и обратно, с той стороны Оки на эту, и всякий раз, когда колёса переходят с асфальта на металл, под машиной раздаётся короткий двойной стук. Тук-тук. Стыки. Как сердце.

Тук-тук.

Арки над головой теряются в снегу. Фонари — жёлтые, расплывшиеся — висят в метели, как фонарики над водой. Мост пустой. Ни одной машины.

Нет. Одна.

Впереди, метрах в двухстах, на правой стороне — красные огни. Габариты. Машина стоит у самого ограждения, и что-то в ней не так, и Глеб не сразу понимает что.

Она стоит на боку.

— Михалыч.

— Вижу.

Михалыч включает мигалку. Синий свет ударяет в метель и отражается от неё, и на секунду весь мост становится синим, мёртвым, ненастоящим.

Ещё дальше, метров за сто от лежащей машины, — вторые огни. Тоже красные. Там стоит другая машина, большая, тёмная, с открытой водительской дверью. Из двери на мост падает жёлтый свет салона. И оттуда — Глеб слышит это даже сквозь вой ветра и рёв собственного мотора — музыка. Что-то медленное. Скрипки. Как будто кто-то забыл выключить радио на похоронах.

У лежащей машины стоит человек.

Высокий. В тёмном пальто. Без шапки. Он стоит, наклонившись над машиной, — и вдруг выпрямляется. Смотрит прямо на синие огни. Глеб не видит его лица — только силуэт в метели, тёмный, длинный.

Человек поворачивается и бежит.

Неловко, скользя, падая на одно колено, поднимаясь, — к той, второй машине. К открытой двери. К скрипкам.

Дверь хлопает. Музыка обрывается. Огни уходят вперёд, к площади Маркина, и тают в снегу.

— Номер видел? — говорит Михалыч.

— Нет.

— Сука, — говорит Михалыч. Тихо, без выражения. И тормозит.

* * *

Глеб выпрыгивает раньше, чем машина останавливается.

Ветер бьёт в лицо снегом — горсть мокрого песка. Под ногами лёд, присыпанный свежим, белым, и он едет на нём, как на коньках, и хватается за борт скорой, и отталкивается, и бежит.

Маленькая машина. Красная — он видит это в свете фар. Старая, круглая, похожая на божью коровку. Лежит на правом боку, вплотную к ограждению. Ограждение выгнуто наружу, к реке, будто кто-то пытался его вытолкнуть. Колёса левой стороны торчат вверх. Заднее ещё медленно крутится.

Пахнет бензином. И чем-то ещё — тёплым, сладким, железным. Глеб знает этот запах. Он знает его лучше, чем запах собственной квартиры.

Лобового стекла нет. Оно лежит на мосту, целое, вывалившееся из рамы, — молочное, в паутине трещин, похожее на лёд с озера.

Глеб падает на колени перед пустой рамой. Светит фонарём внутрь.

Двое.

Наверху — та, что за рулём. Висит на ремне, боком, голова запрокинута. Волосы тёмные, длинные, мокрые — в крови. Лицо в крови. Левая штанина джинсов — чёрная, мокрая, блестящая. Под ней, на двери, которая теперь стала полом, — лужа. Она растёт. Глеб видит, как она растёт. Медленно, толчками.

Бедренная. Или рядом.

Три минуты. Может, четыре.

Внизу — вторая. Пассажирка. Прижатая к двери, к асфальту, к ограждению. Маленькая. Светлая куртка, капюшон с мехом. Лицо — белое-белое, совсем детское. Глаза закрыты.

Он светит на неё. Она открывает глаза.

Живая.

Дышит часто и мелко — как собака в жару. Губы серые. Он тянется к ней, проталкивает руку через сиденья, через осколки, нащупывает шею. Пульс есть. Нитевидный. Быстрый. Под пальцами — как будто кто-то стучит по столу кончиком карандаша. Часто-часто и очень слабо.

Он не видит крови. Нигде. И от этого ему становится холодно — холоднее, чем от ветра. Если крови не видно, а пульс такой — значит, кровь внутри.

Внутри он ничего не может. Ни здесь, ни сейчас, ни через десять минут. Только машина, только стол, только хирург. А до стола — резать железо, вынимать, везти.

— Михалыч! — кричит он, не оборачиваясь. — Вторую бригаду! МЧС! Резать!

— Вызвал уже! — Михалыч бежит с оранжевым ящиком. Ставит рядом. Падает рядом на колени. — Едут. Седьмая ближе всех. Минут десять.

Десять минут.

Глеб смотрит наверх. На ту, что висит на ремне. Лужа под ней растёт.

Смотрит вниз. На ту, что лежит у двери. Белая, маленькая.

Он один. Их двое.

Его этому учили. Сортировка. Кому ты можешь помочь — тому помогаешь. Кому не можешь — не тратишь на него руки. Это не жестокость. Это арифметика. Он знает её наизусть. Он ни разу в жизни не применял её на мосту в метель, в три часа ночи, к двум девочкам в одной машине.

Младшая шевелит губами.

Он не слышит. Ветер. Сирена его собственной машины, которую Михалыч забыл выключить. Скрип выгнутого ограждения.

Он наклоняется ниже. К самому её лицу. Почти касаясь щекой её щеки. Чувствует её дыхание — слабое, частое, тёплое.

Она говорит.

Он слушает.

Потом выпрямляется. Смотрит на неё. Она смотрит на него — спокойно, очень серьёзно, как смотрят взрослые, когда объясняют ребёнку что-то важное.

И кивает. Чуть-чуть. Один раз.

* * *

— Жгут.

Михалыч суёт ему в руку жгут.

Глеб протискивается в салон через пустую раму. Плечами — через осколки, через запах бензина и крови. Колени — на дверь, на лужу, тёплую, скользкую. Лицом к лицу со старшей. Она висит над ним на ремне, как в гамаке.

Он нащупывает её бедро. Мокрое, горячее. Находит место — выше раны, высоко, у самого паха. Заводит жгут. Тянет.

Она стонет. Не открывая глаз.

— Терпите. — Он тянет сильнее. Затягивает. Фиксирует. — Терпите. Знаю. Знаю.

Кровь под его ладонью перестаёт толкаться.

— Время, — говорит он через плечо.

— Три восемнадцать, — говорит Михалыч.

Голова. Он светит ей в лицо. Над левой бровью — рана, глубокая, до кости, через висок. Кровь заливает глаза, течёт по щеке, капает с подбородка на его рукав. Он прижимает к ране салфетку. Держит.

Нужно, чтобы она не уходила. Чтобы оставалась в сознании, пока не приедут, пока не разрежут, пока не вынут. Если уйдёт сейчас — может не вернуться.

— Девушка. Девушка, слышите меня?

Она открывает глаза. Медленно. Глаза залиты кровью. Смотрят мимо него. Мимо фонаря, который он держит в зубах, мимо его лица — в никуда.

— Слышите?

— Темно, — шепчет она.

— Это ночь. — Он вынимает фонарь изо рта. — Ночь. Метель. Вы на мосту. Я фельдшер. Скорая. Я здесь.

— Почему так темно?

— Оставайтесь со мной. — Он держит салфетку на её виске и чувствует, как она пропитывается под пальцами. — Слышите? Оставайтесь со мной.

— Соня…

— Что?

— Где…

— Оставайтесь со мной, — говорит он. Ровно. Медленно. Как говорят с теми, кто стоит на краю. — Не уходите. Слышите мой голос? Держитесь за него. Оставайтесь со мной.

Она ищет его рукой. Слепо, неловко — правой, единственной свободной. Пальцы натыкаются на его куртку. На карман. На твёрдое круглое яблоко в кармане. Сжимают его через ткань.

Он берёт её руку в свою.

— Вот так. Держите. Оставайтесь со мной.

Она держит.

Он говорит. Он не помнит потом, что говорил. Что-то про метель. Про то, что скоро приедут. Про то, что надо дышать. Про то, что всё будет хорошо, — он никогда не говорит пациентам, что всё будет хорошо, это запрещено, это нечестно, — а тут говорил. Раз двадцать. Он держал её руку, прижимал салфетку к её виску и говорил, говорил, говорил, не останавливаясь, как радио, которое забыли выключить.

Внизу, под ним, у самой его ноги, — младшая.

Он чувствовал её коленом. Её плечо в светлой куртке. Сначала — как она дышит. Часто, мелко.

Потом — реже.

Он не мог повернуться. Если повернётся — отпустит салфетку. Если отпустит руку — старшая уйдёт. Она держалась за его голос. Он это чувствовал — как она держится. Как тонущий за край лодки.

Он говорил.

И нашёл свободной рукой — левой, чужой, неловкой — плечо младшей. Потом шею. Потом холодную маленькую ладонь. И сжал её. И держал. Обеих сразу. Одну — правой. Другую — левой. Не глядя.

Он говорил с одной. А держал — обеих.

Ладонь в его левой руке была холодной. И становилась холоднее.

* * *

Седьмая бригада приехала в три двадцать три.

Сирена — сначала далёкая, потом сразу близкая, потом в упор. Синие огни на мосту — вторые. Шаги по льду. Голос Рустама — громкий, весёлый всегда, даже сейчас, даже здесь:

— Северин! Что у тебя?

— Две, — говорит Глеб. Не оборачиваясь. — Старшая — бедренная, жгут в три восемнадцать, ЧМТ, в сознании. Младшая — внутреннее. Пульс нитевидный. Не видел, что там. Не мог.

Рустам ныряет в машину с другой стороны — через заднее стекло, разбив остатки локтем. Лезет вниз. К младшей.

Тишина.

Глеб говорит. Держит старшую за руку. Держит салфетку.

— Северин.

Глеб молчит.

— Глеб, — говорит Рустам. Другим голосом.

Глеб знает этот голос.

Он не поворачивается. Он смотрит на старшую — на её лицо в крови, на глаза, которые смотрят в никуда, — и продолжает говорить. Про метель. Про то, что сейчас приедут спасатели, разрежут железо, вынут её, положат в тёплую машину. Про то, что нужно держаться.

Его левая рука всё ещё держит маленькую холодную ладонь.

Он не отпускает.

Спасатели приезжают в три тридцать одну. Режут стойку. Визг металла — долгий, страшный, на весь мост. Старшую вынимают через крышу. Кладут на носилки. Она всё ещё держит его за руку — и не отпускает, когда её несут, и ему приходится идти рядом с носилками, нагнувшись, по льду, до самой машины.

В машине она отпускает. Сама. Пальцы разжимаются.

— Темно, — говорит она. Очень тихо. В пустоту.

— Это ночь, — говорит Глеб.

Двери закрываются.

* * *

Младшую вынимают последней.

Глеб стоит у ограждения. Выгнутого, холодного. Внизу, под мостом, — Ока подо льдом. Белая, ровная, в метели её не видно, только угадывается — огромная, пустая, мёртвая.

Рустам подходит. Встаёт рядом. Закуривает. Курить нельзя — бензин. Он курит.

— Ты ничего не мог, — говорит Рустам.

Глеб молчит.

— Слышишь? Там аорта, наверное. Или печень. Там с первой минуты было — всё. Ты бы её не вытащил. Никто бы не вытащил. Ты всё правильно сделал. Старшую ты вытащил. Без тебя она бы за четыре минуты ушла. Ты понял?

Глеб молчит.

— Северин.

— Она что-то сказала, — говорит Глеб.

— Кто?

— Младшая.

Рустам смотрит на него.

— Что?

Глеб смотрит вниз. На белую реку, которой не видно.

Не отвечает.

В кармане его куртки лежит яблоко. Твёрдое, холодное, с отпечатками чужих пальцев на кожуре. Он нащупывает его. Сжимает.

— Ничего, — говорит он. — Показалось.

На мосту пахнет бензином и кровью. Метель метёт. Арки над головой гудят на ветру — низко, протяжно, как будто весь мост — огромная струна, и кто-то медленно ведёт по ней смычком.

Мост поёт.

Глеб слушает.

Потом поворачивается и идёт к машине. Им ещё четыре часа до пересменки.

Через месяц он уволится со скорой и больше никогда не выйдет на вызов.

Через девять месяцев, глубокой ночью, в двадцать с лишним минут четвёртого, у него на пульте зазвонит телефон.

Часть первая. Причина: не указана

«Оператор обязан установить причину обращения»

Глава 1

Тая

Слышно: говорящие часы, когти по двери, дыхание Бублика

— Три часа. Четырнадцать минут.

Часы говорят это женским голосом — ровным, вежливым, чуть механическим, как будто голос принадлежит очень воспитанной женщине, которая очень устала. Я нажимаю на кнопку сверху, и она говорит. Я могу нажать ещё раз — она скажет снова. Ей не надоедает.

Мне не нужно нажимать. Я и так знаю.

Я просыпаюсь в три часа четырнадцать минут каждую ночь. Двести восемьдесят ночей подряд. Я считала. Не специально — оно само считается, как ступеньки, когда идёшь по лестнице, и уже не можешь не считать, даже если хочешь. Двести восемьдесят.

Сначала я думала — совпадение. Потом — что-то с нервами. Невролог в областной сказал: «Посттравматическое. Пройдёт». Психотерапевт, к которой меня водила мама, сказала: «Ваше тело помнит. Тело всегда помнит». Я спросила, что мне с этим делать. Она сказала: «Ничего. Просто позвольте ему помнить».

Я позволяю.

Я лежу на спине, натянув одеяло до подбородка, и слушаю, как помнит моё тело. Сердце — чуть быстрее, чем надо. Пальцы — холодные. В левом бедре, там, где шрам, — тянущая тупая боль, которой днём нет. В левом виске — тоже. Как будто кто-то нажал туда пальцем и забыл убрать.

И слушаю дом.

Дом у нас старый. Бабушкин. Двухэтажный, кирпичный, с толстыми стенами и деревянными перекрытиями, которые разговаривают по ночам. Я знаю их голоса наизусть. Половица у порога кухни — короткий сухой щелчок, как будто кто-то переломил спичку. Труба в ванной — длинный вздох, раз в двадцать минут, когда наверху Аркадий Львович спускает воду. Холодильник — гудит, гудит, гудит и вдруг вздрагивает и замолкает, и в наступившей тишине становится слышно всё остальное.

Ветер. Сегодня западный. Он приходит с Ильинской, трогает стёкла, проводит пальцем по водосточной трубе на углу — и труба отвечает ему тонким железным «у-у». Где-то очень далеко, внизу, у реки, проезжает машина. Шины по мокрому. Шшшш — и тишина.

Бублик дышит у кровати. Он спит на коврике, который Соня купила ему на распродаже, — жёсткий, колючий, пахнущий резиной и псиной. Бублик старый. Ему одиннадцать. Он дышит тяжело и громко, с присвистом, и иногда во сне перебирает лапами по полу — цок-цок-цок, — и я знаю, что он бежит. Куда-то бежит во сне. Может быть, за Соней.

Я опускаю руку с кровати. Нахожу его голову. Тёплую, шерстяную, с мягкими ушами. Он вздыхает и лижет мне пальцы, не просыпаясь.

— Спи, — говорю я ему. — Спи, старик.

Три часа пятнадцать минут. Шестнадцать. Двадцать.

Я лежу и жду, когда отпустит. Обычно отпускает к четырём. Иногда к пяти. Иногда — не отпускает совсем, и тогда я встаю, иду на кухню, ставлю чайник, сажусь на подоконник и сижу, пока за окном не начинает шуметь улица. Первый троллейбус. Первые шаги по тротуару. Первая собака. Тогда можно. Тогда ночь кончилась, и я могу спать.

Двести восемьдесят ночей.

Я думала, что знаю про них всё.

* * *

В три двадцать две в дверь кто-то заскрёбся.

Я не сразу поняла, что это. Звук был тихий, низкий, почти у самого пола. Как будто кто-то проводит ногтями по дереву. Медленно. Сверху вниз. Потом ещё раз.

Скр-р-р.

Я перестала дышать.

Бублик под моей рукой проснулся. Я почувствовала это — как он поднял голову, как напряглась шея под ладонью. Как шерсть на загривке встала дыбом. Он не лаял. Он вообще почти никогда не лает — он старый, ленивый, добрый, он любит всех, даже почтальона, даже ветеринара. Он только дышал. Шумно. Носом. Втягивая воздух.

Скр-р-р.

А потом Бублик зарычал.

Тихо. Глубоко. Откуда-то из живота, из самой середины. Я никогда не слышала, чтобы он так рычал. За одиннадцать лет — ни разу. Это был не его звук. Это был звук какой-то другой, чужой, незнакомой собаки, которая вдруг оказалась у моей кровати.

Скр-р-р. И что-то ещё. Тихое. Тонкое. Похожее на всхлип.

Я села на кровати.

Сердце колотилось так, что я слышала его в ушах. Пальцы на одеяле дрожали. Я сжала их в кулаки.

Подумай, сказала я себе. Подумай. Входная дверь — старая, деревянная, обитая дерматином, с двумя замками. Я закрыла оба. Я всегда закрываю оба, я проверяю дважды, я провожу пальцами по каждому язычку — это ритуал, я не ложусь, пока не проверю. Значит, закрыто. Значит, тот, кто скребётся, — снаружи. В подъезде.

Дверь в подъезд не запирается с сентября. Домофон сломался, Аркадий Львович звонил в управляющую четыре раза, ему обещают «на следующей неделе». Значит, в подъезд может зайти кто угодно. Кто угодно может стоять сейчас за моей дверью, в полуметре от меня, и скрести.

Скр-р-р.

Можно позвать Аркадия Львовича. Он наверху, прямо надо мной, четырнадцать ступенек. Можно постучать по батарее — мы договаривались: три удара — значит, что-то случилось. Он проснётся, наденет свой старый халат, спустится, откроет. Он бы спустился. Он всегда спускается.

Ему шестьдесят один. У него сердце. Месяц назад его увозили с давлением, и он потом неделю ходил тихий, бледный, с запахом валокордина, и говорил: «Ерунда, Таечка, ерунда». Если там, за дверью, кто-то есть — кто-то с ножом, кто-то пьяный, кто-то злой, — и он выйдет к нему в халате…

Нет.

Я нащупала телефон на тумбочке. Он сказал своим вежливым механическим голосом: «Разблокировано». Я провела пальцем. Ещё раз. Набрала. Один. Один. Два.

Я никогда в жизни не звонила в сто двенадцать.

Гудок. Один. Второй.

Скр-р-р — у двери.

Третий.

— Служба сто двенадцать, оператор Северин. Что у вас случилось?

* * *

Голос был мужской. Низкий. Не громкий — наоборот, тихий, будто человек на том конце говорил вполголоса, чтобы не разбудить кого-то рядом. Чуть хрипловатый. И очень медленный. Не ленивый — спокойный. Как будто у него было сколько угодно времени. Как будто ничего на свете не происходило такого, на что нужно было бы торопиться.

Я открыла рот и не смогла ничего сказать.

— Алло, — сказал голос. — Я вас слышу. Я здесь. Говорите, когда сможете.

— Кто-то скребётся, — сказала я. Шёпотом. — В дверь. Вот сейчас. Прямо сейчас.

— Понял. Вы дома?

— Да.

— Дверь закрыта?

— Да. На два замка.

— Хорошо. Это хорошо. Вы одна?

— С собакой.

— Собака большая?

— Лабрадор. Старый.

— Что делает собака?

— Рычит. — Я сглотнула. — Он никогда не рычит.

— Понял, — сказал голос. Так же медленно. — Назовите адрес, пожалуйста.

Я назвала. Ильинская, номер дома, квартира один. Первый этаж.

Я услышала, как он печатает. Быстро, тихо, мягкими клавишами. Клик-клик-клик.

— Я отправляю к вам наряд полиции, — сказал он. — Они будут минут через пятнадцать, может, раньше. Сейчас ночь, дороги пустые. А пока они едут, я с вами. Хорошо?

— Хорошо.

— Не открывайте дверь. Не подходите к ней близко. Где вы сейчас?

— На кровати.

— Оставайтесь там. Можете включить свет в прихожей?

Я помолчала.

— Не могу.

— Нет света?

— Нет.

— Ничего, — сказал он. — Не нужно. Посмотрите в глазок, если он есть, — только не прижимайтесь к двери, издалека.

Скр-р-р.

— Я не вижу, — сказала я.

— Темно в подъезде?

Я не ответила.

— Понял, — сказал он. — Не надо смотреть. Тогда давайте послушаем. Вы слышите звук сейчас?

Скр-р-р. Тише. И снова — тот тонкий звук. Всхлип. Скулёж.

— Да.

— Опишите мне его. Как можно точнее. Где он — высоко или низко?

— Низко. У самого пола.

— Какой он? Резкий? Металлический? Как ножом?

— Нет. — Я прислушалась. Я умею слушать. Это теперь единственное, что я умею по-настоящему. — Мягкий. Как ногтями. Медленный. Сверху вниз. И ещё — между — как будто кто-то плачет. Тоненько.

Пауза.

— А ваша собака, — сказал голос, — как она рычит? Зло? Или — тревожно? Шерсть дыбом?

— Дыбом.

— А хвост?

Я протянула руку. Нашла Бублика. Провела по спине — до хвоста.

Хвост не висел. Он медленно, неуверенно, из стороны в сторону, мёл по полу.

— Виляет, — сказала я. — Немножко.

— Так, — сказал голос. И я услышала в нём что-то новое. Почти улыбку. — Абонент, а скажите-ка своей собаке одно слово. Громко, чётко. «Свои».

— Что?

— Скажите: «Свои». Как вы ему говорите, когда приходят знакомые.

Я сглотнула.

— Бублик, — сказала я. Хрипло. — Свои.

Бублик замолчал. Сразу. Как будто его выключили. Я почувствовала под рукой, как он встаёт. Как отряхивается — громко, с хлопаньем ушей. Как идёт к двери — цок-цок-цок по половицам — и нюхает щель под ней. Долго, шумно, с присвистом.

И бьёт хвостом по стене. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук.

За дверью — тишина. Потом — короткий, тонкий, отчаянный визг. И снова скрёб. Быстрее, радостнее, двумя лапами сразу.

— Ну вот, — сказал голос. — Познакомились.

— Это собака, — сказала я.

— Похоже на то. Маленькая, судя по всему. Щенок. Замёрз, зашёл в подъезд, почуял вашего — и пришёл проситься в гости.

Я засмеялась.

Я не ожидала. Смех вырвался сам, короткий, нелепый, как кашель, — и я зажала рот ладонью, и сидела на кровати, и смеялась в ладонь, и по щекам почему-то текли слёзы.

— Простите, — сказала я сквозь пальцы. — Простите. Я вас разбудила. То есть не разбудила, вы на работе. Я отняла… У вас же там, наверное, люди. Настоящие. С настоящим.

— У меня сейчас вы, — сказал голос.

* * *

Наряд он отменять не стал.

— Пусть заедут, — сказал он. — Посмотрят. Мало ли. Щенок щенком, а дверь в подъезд у вас, говорите, не запирается. Им по пути.

— Я не говорила, что не запирается.

Пауза.

— Не говорили, — согласился он. — Но если бы запиралась, щенок бы не зашёл.

Я подумала, что он, наверное, хороший оператор.

Полиция приехала через двенадцать минут. Я слышала, как во дворе хлопнули дверцы машины. Тяжёлые шаги в подъезде. Голоса — молодые, сонные, раздражённые. Потом — один голос перестал быть раздражённым и сказал: «О-о, ты ж моя прелесть». Потом — визг, возня, смех.

Я сидела на кровати с телефоном у уха. Оператор Северин всё это время был со мной. Он не говорил много. Он просто был. Иногда спрашивал: «Ещё здесь?» Я говорила: «Здесь». Он говорил: «Хорошо».

В дверь постучали.

— Полиция! Гражданочка, всё нормально! Тут у вас щенок. Мелкий, рыжий. Мы его заберём, отвезём… ну, куда-нибудь.

— Не надо куда-нибудь, — сказала я через дверь.

Пауза.

— А чего тогда?

Я не знала. Я сидела, прижав к уху телефон, и не знала.

— Отдайте его соседу, — сказал вдруг голос в трубке. Тихо. Мне. — У вас есть сосед, которому можно доверить щенка до утра?

— Есть, — сказала я. — Наверху.

— Скажите им.

— Отнесите наверх, — сказала я через дверь. — Во вторую квартиру. Там Аркадий Львович. Скажите — от Таи. Он поймёт.

Шаги наверх. Четырнадцать ступенек. Я посчитала. Стук. Долгий. Ещё стук. Потом наверху щёлкнул замок, и знакомый голос — сонный, испуганный, в халате — сказал: «Господи. Что? Где Тая? Что с ней?»

— Да нормально всё, отец. Вот. Говорит — от Таи. Щенок.

Пауза.

— Господи, — сказал Аркадий Львович. Совсем другим голосом. — Ну давайте. Давайте его сюда. Господи, какой холодный. Ну иди, иди сюда. Ну тихо, тихо.

Дверь наверху закрылась. Шаги вниз. Машина во дворе. Тишина.

Бублик лёг у двери — тяжело, со вздохом — и положил морду на лапы. Обиделся, наверное. Друга увели.

— Всё, — сказал голос в трубке. — Вы в безопасности. Щенок в безопасности. Полиция уехала.

— Да.

— Как вы?

Я подумала.

— Не знаю, — сказала я честно.

— Это нормально.

Мы помолчали.

Я ждала, что он скажет: «Всего доброго» или «Если что — звоните». Что-нибудь такое, после чего вешают трубку. Он не говорил. Я слышала, как он дышит. Тихо, ровно. Слышала что-то вокруг него — далёкие голоса, приглушённые, много голосов, как в большой комнате, где все говорят одновременно, но вполголоса. Слышала, как гудит что-то над ним. Тонко, на одной ноте. Лампа, наверное.

— Вы не кладёте трубку, — сказала я.

— Нет.

— Почему?

— Я никогда не кладу трубку первым.

— Никогда?

— Никогда.

— А если человек не кладёт тоже? Если он будет молчать до утра?

— Значит, до утра, — сказал он.

Я сидела на кровати, в темноте, и слушала, как он дышит.

— Это правило? — спросила я. — У вас такое правило? На работе?

— Это моё правило.

— Почему?

Он помолчал.

— Долгая история.

— У меня до четырёх утра свободно, — сказала я. — Иногда до пяти.

Он засмеялся. Тихо, коротко, носом. Как будто не ожидал от себя.

— Вы всегда не спите в это время? — спросил он.

— Всегда.

— Почему?

— Долгая история, — сказала я.

Он опять засмеялся. Чуть громче.

— Справедливо.

* * *

Мы проговорили сорок минут.

Я потом посмотрела. То есть — не посмотрела. Телефон сказал мне своим вежливым голосом: «Последний вызов: сто двенадцать. Длительность: сорок одна минута». Сорок одна минута.

Я не помню, о чём мы говорили. Это неправда — я помню всё. Но если бы меня спросили, я бы не смогла пересказать. Это был разговор ни о чём. О ночи. О том, что в октябре ночи длиннее, чем в сентябре, и это чувствуется даже в комнате, без окон. О том, что щенку надо будет дать имя. Он предложил «Сто двенадцать». Я сказала — это слишком длинно для щенка. Он предложил «Северин». Я сказала — это уже занято.

О том, что у него на работе гудит лампа над столом. Он сказал, что она гудит на ноте «ля». Я спросила, откуда он знает. Он сказал — у него была соседка по общежитию, скрипачка, она настраивала скрипку по этой лампе. Я спросила — правда? Он сказал — нет, конечно. Он сказал — просто хотел, чтобы было интереснее. Я засмеялась в третий раз.

Три раза за сорок одну минуту.

За двести семьдесят девять предыдущих ночей — ни разу.

Он не спрашивал моего имени. Вернее, спросил один раз, в самом начале, когда я диктовала адрес, — «Как вас зовут?» — и я сказала: «Неважно». И он больше не спрашивал. Он называл меня «абонент». «Абонент, вы ещё здесь?» Мне нравилось. Абонент — это никто. Абонент — это просто голос в трубке. У абонента нет прошлого, нет шрама на бедре, нет закрытой комнаты в конце коридора. У абонента есть только сейчас.

Я тоже не спрашивала его имени. Я знала фамилию. Северин. Он сказал её первым словом — «оператор Северин», — и я её запомнила, и повторяла про себя, и она звучала как что-то северное. Холодное и чистое. Как снег, на который ещё никто не наступил.

В четыре ноль три я сказала:

— Мне кажется, я смогу уснуть.

— Это хорошо, — сказал он.

— Спасибо.

— Не за что.

— Есть за что, — сказала я. — Вы не знаете. Есть.

Он помолчал.

— Тогда — пожалуйста, — сказал он.

Я держала телефон у уха. Он молчал. Он ждал. Он не кладёт трубку первым.

— До свидания, оператор Северин, — сказала я.

— До свидания, абонент.

Я нажала на кнопку.

Тишина.

Бублик вздохнул у двери. Холодильник вздрогнул и замолчал. Где-то наверху, через потолок, тоненько и жалобно тявкнул щенок, и Аркадий Львович что-то забормотал — ласково, неразборчиво, сквозь сон.

Я легла. Натянула одеяло до подбородка.

Голос остался в ухе. Как бывает, когда долго слушаешь музыку в наушниках, а потом снимаешь, — и она ещё звучит. Тихий. Медленный. Чуть хрипловатый. «У меня сейчас вы».

Я уснула в четыре одиннадцать.

Первый раз за двести восемьдесят ночей — до пяти.

* * *

Утром Аркадий Львович спустился ко мне со щенком за пазухой.

Я услышала его ещё на лестнице. Его шаги я знаю лучше, чем свои: тяжёлые, шаркающие, с остановкой на седьмой ступеньке — там он всегда держится за перила и переводит дух. И его запах я знаю. Он вошёл, и в прихожую вошли вместе с ним войлок, канифоль, табак,

который он бросил курить пять лет назад, но который навсегда въелся в его вязаную кофту, и валокордин. И ещё — сегодня — мокрая псина. Молодая, кислая, щенячья.

— Таечка, — сказал он. — Господи. Ты как? Ты не испугалась? Они мне в три часа ночи — щенка! В дверь! Я думал — всё, с тобой что-то. Сердце в пятки.

— Я испугалась, — сказала я. — Сначала. Потом нет.

— Ты почему меня не позвала? Мы же договаривались — по батарее. Три раза.

— Не хотела вас будить.

— Господи, — сказал он. — Да я не сплю всё равно. Я в мои годы не сплю, а лежу и думаю. Это разные вещи.

Он сел на табуретку в прихожей. Я слышала, как она скрипнула под ним. Он вытащил щенка из-за пазухи — тот завозился, запищал — и положил мне на колени.

Тёплый. Совсем маленький. Невесомый, как варежка. Шерсть мягкая, короткая, чуть влажная. Уши — крошечные треугольники, тонкие, горячие на просвет — нет. Не на просвет. Просто горячие. Лапы — огромные по сравнению с телом, неуклюжие. Нос — холодный, мокрый, тыкался мне в ладонь, в запястье, в подбородок. Пахло молоком. Аркадий Львович его покормил.

Бублик подошёл. Ткнулся носом в щенка. Щенок пискнул и вцепился ему в ухо.

Бублик вздохнул и лёг рядом. Терпеливо. Как дедушка.

— Рыжий, — сказал Аркадий Львович. — Совсем рыжий. Как морковка. С белым пятном на груди, вот тут. — Он взял мою руку и положил щенку на грудь. — Вот тут. Чувствуешь, шерсть другая? Мягче. Это белое.

— Чувствую.

— Я его в клинику свожу. На Белинского. Там девочка-волонтёр, она пристраивает. Найдём ему хозяев.

— Хорошо.

— Или… — Он помолчал. — Или, может, оставишь? Бублику компания.

— Бублику одиннадцать лет, — сказала я. — Ему компания нужна, как вам — щенок.

— А мне бы, может, и нужна, — сказал Аркадий Львович. Тихо.

Мы помолчали. Щенок грыз Бублику ухо. Бублик терпел.

— Это кто тебе посоветовал? — спросил вдруг Аркадий Львович. — Мне отдать. Полиция?

— Нет. Оператор.

— Какой оператор?

— Сто двенадцать.

— Ты звонила в сто двенадцать? — Голос у него стал испуганным. — Господи, Таечка. Ну зачем? Позвала бы меня…

— Он хороший, — сказала я.

— Кто?

— Оператор. Он со мной сорок минут разговаривал.

Аркадий Львович помолчал.

— Сорок минут, — повторил он. — Надо же. Им разве можно столько?

— Не знаю.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Хорошо, что хороший. Ты чаю хочешь? Я поставлю.

Он пошёл на кухню. Половица у порога щёлкнула под ним — сухо, как сломанная спичка. Зашумела вода. Звякнул чайник.

Я сидела в прихожей на полу, со щенком на коленях и с Бубликом под боком, и держала ладонь на маленьком тёплом животе. Сердце там колотилось — часто-часто, быстро, как у птицы.

Я думала про голос.

Про то, как он сказал: «Посмотрите в глазок». И как я ответила: «Я не вижу». И как он решил — темно в подъезде.

Я не стала его поправлять. Сама не знаю почему. Наверное, потому что первый раз за девять месяцев кто-то говорил со мной и не знал. Не знал — и говорил со мной как с человеком, который может посмотреть в глазок. Просто — не сейчас. Просто — темно в подъезде.

Темно было не в подъезде.

Девять месяцев назад, семнадцатого января, в три часа четырнадцать минут ночи, я ослепла.

Совсем. Навсегда. Без надежды, без «может быть», без «давайте попробуем». Я не вижу ни лиц, ни букв, ни света. Даже света. Мне говорят: «Солнце вышло», — и я поворачиваю лицо и чувствую тепло на щеке. Только тепло.

Я больше ничего не вижу.

Но в ту ночь, в три двадцать две, впервые за двести восемьдесят ночей, кто-то посмотрел вместе со мной в темноту — и увидел там щенка.

Глава 2

Глеб

Вызов № 5102 · 03:14 · Длительность: 38 мин · Причина: не указана

В зале четырнадцать столов, и над каждым гудит лампа.

Не все одинаково. Глеб знает их голоса так же хорошо, как голоса операторов. Над столом Кати, у двери, лампа почти не слышна — сухой тихий шелест, как будто кто-то перелистывает книгу. Над Диминым — дребезжит, с перебоями, раз в несколько минут взвизгивает и затихает; Дима третий месяц пишет заявки на замену, заявки уходят куда-то наверх и не возвращаются. Над столом Зои Павловны, в дальнем углу, у окна, которого нет — вместо окна там висит большая карта области в пластиковой раме, — лампа гудит басом, низко, солидно, как старый холодильник.

Над его собственным столом — чисто, тонко, на одной ноте.

Он сказал абоненту, что это «ля». Он не знает, «ля» это или нет. У него нет слуха. Мама говорила, что ему медведь на ухо наступил, — давно, ещё когда она говорила длинными фразами. Он просто хотел, чтобы абоненту было интересно. Чтобы она ещё раз засмеялась.

Она засмеялась.

Он сидит перед двумя мониторами, в гарнитуре, и слушает гудение своей лампы, и думает, что надо бы спросить у кого-нибудь, какая это нота на самом деле. На всякий случай. Если вдруг она спросит.

Она не спросит. Она больше не позвонит. Это был вызов. Один из ста сорока за смену. Щенок в подъезде, страшно ночью одной, наряд выехал, проблема решена. Карточка закрыта. Причина: «Консультация». Он сам вписал это слово и долго смотрел на него, прежде чем нажать «Сохранить». Консультация. Сорок одна минута.

— Служба сто двенадцать, оператор Северин. Что у вас случилось?

* * *

Ночью звонят по-другому, чем днём.

Днём звонят те, у кого что-то сломалось: машина, нога, водопровод, жизнь. Днём голоса торопливые, деловые, раздражённые. Днём люди знают, чего хотят: приезжайте, помогите, сделайте. Днём сто двенадцать — это справочное бюро с мигалками.

Ночью звонят те, у кого сломалось что-то, чему нет названия.

В двадцать три сорок звонит мужчина — пьяный, вежливый, очень обстоятельный — и спрашивает, может ли сто двенадцать вызвать ему такси, потому что «у меня в телефоне такси не грузится, а вы же государственные, у вас должно грузиться». Глеб объясняет, что не может. Мужчина извиняется. Долго, витиевато. Потом говорит: «А можно я просто ещё немножко с вами побуду? У вас голос хороший». Глеб говорит: «Можно. Минуту». Мужчина молчит минуту. Потом говорит: «Спасибо, брат», — и отключается.

В ноль сорок звонит бабушка из Сормова — упала в ванной, не может встать. Говорит бодро, почти весело: «Сынок, я тут лежу как жук. Пришли кого-нибудь, а то стыдно, я голая». Глеб отправляет скорую и МЧС — дверь вскрывать. Остаётся на линии. Бабушка рассказывает ему про внука в Москве, который не звонит. Про кота, который сидит рядом и смотрит «как прокурор». Про то, что ей восемьдесят три, а в голове всё ещё двадцать. Когда в дверь начинают ломиться спасатели, она говорит: «Ой, мужчины пришли. Спасибо, сынок. Ты хороший. Позвони внуку моему, скажи, что бабка его дура». Глеб не может позвонить внуку. Он говорит: «Скажу».

В час двадцать — драка на Звездинке. В час сорок — пожар в частном секторе на Бору, сарай, никто не пострадал. В два ноль пять — женщина, которая не говорит ничего, только дышит в трубку. Глеб ждёт. Минуту. Две. Он знает это дыхание. Он говорит: «Вы можете не

говорить. Если вам опасно говорить — нажмите любую кнопку». Кнопка пищит. Он отправляет наряд по адресу, который выдала система, и не кладёт трубку, пока не слышит в ней мужские голоса в форме и женский плач. Потом трубку берёт полицейский и говорит: «Всё, оператор. Забрали его».

Глеб снимает гарнитуру. Трёт уши. Надевает обратно.

Это его работа. Восемь месяцев. До этого он девять лет сам ездил по этим адресам — по ванным, дракам, сараям, по квартирам, где женщина дышит в трубку, а в соседней комнате кто-то ходит. Теперь он сидит в комнате без окон, на канавинской стороне, в двух кварталах от Ярмарки, и отправляет туда других.

Он думал, что так будет легче.

Так не легче. Так — по-другому. На вызове у тебя есть руки. Ты можешь затянуть жгут, сделать укол, положить ладонь на грудь, держать. Здесь у тебя нет рук. Здесь у тебя есть только голос. И ты учишься делать голосом всё, что раньше делал руками. Держать. Останавливать кровь. Не отпускать.

* * *

В два сорок звонит ребёнок.

— Алло, — говорит тонкий голос. Мальчик. Лет восьми, может, девяти. — Это скорая?

— Это служба спасения, — говорит Глеб. — Меня зовут Глеб. Как тебя зовут?

— Тимур.

— Тимур, что случилось?

— Мама не просыпается.

Глеб перестаёт дышать.

На секунду. Не больше. Потом начинает снова — медленно, ровно, носом. Так, чтобы мальчик не услышал.

— Понял, Тимур. Ты молодец, что позвонил. Ты всё правильно сделал. Где ты сейчас?

— Дома.

— Ты знаешь свой адрес?

Мальчик знает. Он диктует его медленно, по слогам, как в школе учили: улица, дом, квартира. Глеб вбивает. Одновременно — второй рукой — переключает на «ноль-три». Диспетчер скорой отвечает сразу: «Слушаю». Глеб коротко: ребёнок, мать без сознания, адрес. Диспетчер: «Принято. Бригада выезжает, восемь-десять минут».

Восемь-десять минут.

— Тимур, ты меня слышишь?

— Да.

— Скорая уже едет. Через десять минут будет у тебя. А пока я с тобой. Хорошо? Я никуда не уйду.

— Хорошо.

— Где мама?

— На кухне. На полу.

— Ты можешь к ней подойти? С телефоном?

Шорох. Шаги — маленькие, босые, шлёп-шлёп по линолеуму.

— Подошёл.

— Посмотри на неё. Она дышит? Посмотри на живот. Он поднимается?

Пауза. Длинная. Глеб слышит, как мальчик дышит — часто, сбивчиво.

— Поднимается, — говорит Тимур. — Медленно.

Глеб закрывает глаза.

— Хорошо. Это очень хорошо, Тимур. Слушай меня. Сейчас мы с тобой положим маму на бок. Ты сильный?

— Да.

— Встань на колени рядом с ней. Положи телефон на пол, рядом. Громкую связь включи — вот так, кнопка с динамиком. Включил?

— Да.

Голос мальчика теперь — снизу, гулкий, с эхом пустой кухни.

— Возьми маму за плечо. За то, которое дальше от тебя. И тяни к себе. Медленно. Как будто переворачиваешь большую подушку.

Пыхтение. Шорох. Стук — что-то упало.

— Не получается.

— Получится. Ещё раз. Тяни.

Пыхтение. Долгое. Детское. Отчаянное.

— Получилось!

— Ты молодец. Теперь — её верхнюю ногу согни в колене. Вот так, чтобы она не перекатилась обратно. Сделал?

— Да.

— Всё. Ты всё сделал. Ты лучше многих взрослых, Тимур, я тебе честно говорю. Теперь сядь рядом. Возьми её за руку. И просто говори со мной. Хорошо?

— Хорошо.

Они говорят.

Глеб спрашивает, в каком он классе. В третьем. Какая у него любимая игра. Какая-то, Глеб не знает такую, мальчик объясняет долго, сбиваясь, там надо строить из кубиков и убегать от зомби. Есть ли у него кот. Нет, есть рыбки. Две. Как их зовут. Никак, они рыбки.

Глеб смотрит на таймер на мониторе. Три минуты. Пять. Семь.

Он говорит — и где-то внутри, глубоко, в том месте, куда он не заглядывает, начинает открываться дверь. Медленно. Скрипя.

Кухня. Линолеум в клетку, бежевый с коричневым. Холодильник «Бирюса», на нём магнит в виде клубники. Мама на полу. В халате. Одна рука под головой, другая вытянута. Лицо — неправильное. Перекошенное. Левый угол рта — вниз. Тапок слетел с ноги.

Ему девять лет. Он держит в руке тяжёлую трубку домашнего телефона, кремового, с витым проводом, и провод не дотягивается до мамы, и он стоит на коленях, растянув провод до предела, и тянется к маме свободной рукой, и не достаёт.

— Ноль-три, слушаю.

— Мама упала.

Женский голос. Немолодой. Тёплый. Немного с хрипотцой, как будто она много курит или много говорит.

— Как тебя зовут?

— Глеб.

— Глебушка. Я здесь. Я никуда не уйду. Ты меня слышишь? Я с тобой, пока не приедут. Не клади трубку.

Двадцать две минуты.

Скорая ехала двадцать две минуты, потому что был гололёд и потому что это был девяносто какой-то год, нет, уже две тысячи шестой, но машин всё равно не хватало. Двадцать две минуты голос не отпускал его. Говорил с ним. Спрашивал про школу, про собаку, которой у него не было, про то, какой мультик он любит. Объяснял, как положить маму на бок. Хвалил. Когда в дверь позвонили, голос сказал: «Это они. Беги открывай. А трубку не клади, положи рядом. Я подожду».

Он открыл. Бригада — двое мужчин в синем, чемоданы, запах холода и табака — прошла на кухню. Он потом, через полчаса, когда маму уже унесли, когда соседка тётя Люба сидела с ним на диване и гладила по голове, — вспомнил про трубку. Подошёл. Взял.

— Алло?

Тишина. Короткие гудки.

Она положила трубку. Конечно. У неё были другие звонки. Другие дети, другие мамы на других полах. Это нормально. Это правильно.

Но в ту секунду, когда он стоял в пустой прихожей и слушал короткие гудки, — он решил. Сам не понимая, что решил. Решил на всю жизнь.

Он никогда не положит трубку первым.

Никогда.

— Дядя Глеб?

Он открывает глаза.

— Я здесь, Тимур.

— Звонят. В дверь.

— Это они. — Голос у него ровный. Он сам удивляется. — Беги открывай. А телефон не выключай. Оставь рядом с мамой. Я подожду.

Шлёп-шлёп-шлёп — босые ноги по линолеуму. Щелчок замка. Голоса — мужской, женский, деловые, быстрые. «Где мама? Здесь? Молодец, парень. Кто её так положил? Ты? Ну ты даёшь». Стук чемодана об пол.

Глеб сидит в гарнитуре и слушает.

Он ждёт десять минут. Пятнадцать. Голоса в трубке уходят — в комнату, на лестницу. Носилки. «Осторожно, угол». Хлопает дверь.

Потом тонкий голос — запыхавшийся, совсем близко:

— Дядя Глеб?

— Здесь.

— Вы ещё здесь?

— Я же сказал — подожду.

Пауза.

— Маму увезли. Сказали — диабет. Сахар. Сказали — я молодец. Бабушка сейчас приедет.

— Ты правда молодец, Тимур.

— Спасибо, — говорит мальчик. Серьёзно. Как взрослый.

— Положи трубку, когда будешь готов.

— А вы?

— А я подожду.

Мальчик дышит в трубку. Долго. Потом говорит «пока» — и гудки.

Глеб снимает гарнитуру. Кладёт на стол. Сидит, глядя на монитор. На карточку вызова. Длительность: восемнадцать минут. Причина: «Медицинская — ребёнок сообщает».

Он вписывает в графу «Примечание»: «Ребёнок действовал правильно». Хотя графа для другого.

* * *

— Северин.

Зоя Павловна стоит у его стола. Он не слышал, как она подошла. Она ходит бесшумно — в мягких туфлях без каблука, войлочных, как домашние тапки. В руках у неё вязание: спицы, клубок, длинный зелёный шарф, который свешивается до колен. Она вяжет этот шарф третий год. Каждую ночь, между звонками. Шарф уже, наверное, метра четыре. Никто не знает, для кого он. Никто не спрашивает.

— Иди покури.

— Я не курю.

— Тогда иди постой там, где курят. Десять минут. Я за тебя посижу.

— Я в порядке.

Зоя Павловна смотрит на него. Поверх очков. У неё очки на цепочке — бисерной, разноцветной, кто-то из внучек сплёл. Глаза за очками — светлые, почти прозрачные, внимательные. Она тридцать с лишним лет на телефоне. Сначала — на «ноль-три», потом, когда открыли сто двенадцать, перешла сюда. Она слышала всё. Она знает, как звучит человек, который в порядке, и как звучит человек, который говорит, что в порядке.

— Ребёнок, — говорит она. Не спрашивает.

— Нормально всё. Сахар у матери. Увезли.

— Знаю. Я слушала.

Глеб поднимает голову.

— Я всех слушаю, Глебушка, — говорит Зоя Павловна. Мягко. — Работа у меня такая. Иди. Десять минут.

Он идёт.

Глебушка. Его так никто не называет. Только она. С первого дня, с марта, когда он пришёл сюда в новой рубашке и с трудовой книжкой, где последняя запись была «Уволен по собственному желанию», — она посмотрела на него поверх очков и сказала: «Ну, Глебушка, садись. Показывать буду». Он тогда подумал — она всех так. Потом заметил — не всех. Катю она зовёт Катериной. Диму — Дмитрием. А его — Глебушкой.

Он не спрашивал почему.

Он не уверен, что хочет знать.

* * *

Курилка — это бетонный пятачок за железной дверью, под козырьком, с ржавой урной и видом на глухую стену соседнего склада. Пахнет мокрым бетоном и чужим табаком. Октябрьская ночь — холодная, сырая, с мелким дождём, который не падает, а висит в воздухе. Где-то за складом, за путями, за Канавином, — вокзал. Ночью, когда ветер оттуда, слышно объявления. Женский голос, металлический, размытый расстоянием: «…поезд номер… прибывает… на третий путь…»

Глеб стоит под козырьком, сунув руки в карманы куртки.

Он думает про абонента.

Он не хочет про неё думать. Он думает.

Про то, как она сказала: «Я не вижу». И он решил — темно в подъезде. А потом, позже, когда они говорили о ночи, он спросил: «Что у вас за окном?» — просто так, чтобы было о чём, — и она помолчала, и сказала: «Тополь. Двор-колодец. Жёлтая стена соседнего дома». И голос у неё был странный. Как будто она не смотрела в окно, а вспоминала.

Он сказал себе — показалось.

Про то, как она засмеялась в первый раз. Внезапно, нелепо, сквозь слёзы. Как будто смех застрял в ней давно и наконец вырвался. Он знает этот смех. Он слышал его у людей, которых доставали из машин живыми, когда они понимали, что живы.

Про то, как она сказала: «Вы не знаете. Есть за что».

Он не знает. Он поймал себя на том, что хочет знать.

Это неправильно. Это вызов. Причина: «Консультация». Она больше не позвонит.

Объявление на вокзале: «…отправляется… с пятого пути… провожающих просим…»

Он возвращается внутрь через восемь минут. Зоя Павловна сидит за его столом и вяжет, гарнитура у неё на шее. Видит его — кивает, встаёт, уходит в свой угол. Ничего не говорит.

* * *

Она не позвонила.

Ни в следующую его смену.

Он не ждал. Он просто, в три часа ночи, когда в зале становилось тихо, когда даже Дима переставал щёлкать мышкой и сидел, уставившись в монитор, с открытым ртом, — смотрел

на часы в правом нижнем углу экрана. Три ноль-ноль. Три десять. Три двенадцать. Три тринадцать.

Три четырнадцать.

Он не знал, почему смотрит именно на эти цифры. Она позвонила в три двадцать две. Не в три четырнадцать. Но что-то — какая-то заноза, которую он не мог нащупать, — заставляло его смотреть на часы ровно в три четырнадцать. Как будто это время что-то для него значило.

Оно значило. Он не хотел об этом думать.

* * *

В ночь на двадцать восьмое Катя у двери сняла гарнитуру с одного уха и повернулась к нему через зал.

— Глеб. Тут девушка. Тебя просит.

Он посмотрел на часы. Три четырнадцать.

— Какая девушка?

— Не знаю. Говорит — абонент. Со щенком. — Катя пожала плечами. — Она вчера уже звонила, спрашивала оператора Северина, я сказала — у нас нет такой функции, звоните — кто ответит, тот и ответит. Она извинилась и положила. А сегодня опять. Говорит — у неё не срочно, она подождёт, если вы заняты. Я ей говорю — девушка, это экстренная линия. Она говорит — я знаю. Извините. — Катя помолчала. — Голос такой… Ну, не знаю. Переключить?

Глеб посмотрел через зал на Зою Павловну.

Зоя Павловна вязала. Не поднимала головы. Но спицы у неё в руках замерли.

Потом снова застучали.

Она не сказала «нет».

— Переключай, — сказал Глеб.

Щелчок в гарнитуре.

— Оператор Северин, — сказал он.

Тишина. Дыхание. Неровное. Как будто человек долго бежал по лестнице.

— Это абонент, — сказал голос. — Со щенком. Вы, наверное, не помните.

— Помню.

— Правда?

— Правда.

Пауза.

— У меня ничего не случилось, — сказал голос. Быстро, как будто боялась, что он перебьёт. — Я не в опасности. Никто не скребётся. Щенок у соседа. Его зовут Шопен. Сосед назвал. Он настройщик, ему можно. Со мной всё хорошо. Я просто… — Она замолчала.

Он ждал.

— Мне просто не с кем поговорить, — сказала она тихо. — В три часа ночи. Простите. Я знаю, что так нельзя. Это экстренная линия. Я знаю. Я сейчас положу.

— Не кладите, — сказал Глеб.

Он сам не знал, что скажет это. Слова вышли раньше, чем он подумал.

Тишина.

— Вы же не кладёте трубку первым, — сказала она. — А я — положу. И будет по правилам.

— Не кладите, — повторил он. — Пожалуйста.

* * *

Они говорили тридцать восемь минут.

Он не помнил потом, о чём. Это неправда. Он помнил всё.

О Шопене, который за два дня сгрыз у Аркадия Львовича — так звали соседа — левый тапок и ножку табуретки, и который скулит, когда сосед садится за пианино, — то ли подпевает, то ли протестует. О том, что Аркадий Львович теперь играет щенку колыбельные, а щенок

под колыбельные засыпает, а под Шопена — того, настоящего, — нет. О том, что по ночам за стеной у неё что-то тикает, — она думала, часы, а потом выяснила, что это жук-точильщик в старом шкафу, и теперь не может спать, потому что слушает, как он ест бабушкин шкаф.

Она спросила, что вокруг него. Он рассказал. Комната без окон. Четырнадцать столов. Лампы. Карта области вместо окна. Катя у двери, которая каждую ночь ест одну и ту же лапшу из стаканчика. Дима, у которого дребезжит лампа. Зоя Павловна в углу, которая вяжет шарф.

— Какой шарф? — спросила она.

— Длинный.

— Какого цвета?

— Зелёного.

— Какой зелёный? — Голос у неё вдруг стал жадным. Внимательным. — Их же сто разных. Травяной? Бутылочный? Как мох? Как ёлка? Как море, когда штормит?

Он посмотрел через зал. На Зою Павловну. На шарф, свешивающийся у неё с колен.

— Как бутылка из-под «Тархуна», — сказал он.

Она засмеялась.

— Это лучший зелёный в мире, — сказала она. — Я его помню. В детстве бабушка покупала. На праздники. Он был… — Она замолчала.

— Каким?

— Таким, что смотришь сквозь бутылку — и весь мир зелёный. Как под водой.

Он подумал, что у неё странный голос, когда она говорит про цвета. Не такой, как у других людей. Как будто она не описывает — а достаёт из шкатулки. Осторожно. По одному.

Он подумал, что надо бы спросить — почему.

Не спросил.

Она тоже ничего о себе не рассказала. Ни имени, ни возраста, ни почему она не спит в три часа ночи. Он спросил один раз — она сказала: «Долгая история». Он больше не спрашивал. Она тоже не спрашивала про его правило. Как будто они договорились, не договариваясь. Два голоса. Без прошлого. Только сейчас.

В три пятьдесят две она сказала:

— Мне пора. Вам, наверное, кто-то звонит.

— Не звонит.

— Всё равно.

— Абонент.

— Да?

Он не знал, что хотел сказать.

— Ничего, — сказал он. — До свидания.

— До свидания, оператор Северин.

Щелчок. Гудки.

Он сидел и слушал гудки.

Потом снял гарнитуру. Над столом тонко гудела лампа. На той же ноте. Он так и не выяснил, на какой.

* * *

— Северин, — сказала Зоя Павловна. — На минуточку.

Они стояли в коридоре, у кулера. Вода в кулере булькнула — громко, одиноко, на весь пустой коридор. Зоя Павловна держала в руке пластиковый стаканчик и не пила.

— Тридцать восемь минут, — сказала она.

— Я знаю.

— Не перебивай. — Она говорила тихо. Без злости. Как говорят с человеком, который стоит на подоконнике. — Сто двенадцать — это линия для тех, кто тонет, Глебушка. Ты понимаешь? Пока ты тридцать восемь минут говорил с девочкой про жука в шкафу, у нас Катерина

взяла два вызова, Дмитрий — три. Один из них — ДТП на Окском съезде. Ничего, обошлось. А если бы не обошлось? Если бы на твой стол упал вызов, а ты занят? Если бы кто-то тонул, а ты кидаешь круг человеку, который сидит на берегу?

— Она не на берегу, — сказал Глеб.

Зоя Павловна посмотрела на него. Долго.

— Откуда ты знаешь?

Он подумал.

— Слышу.

Зоя Павловна вздохнула. Поставила стаканчик на кулер. Сняла очки, и они повисли на бисерной цепочке у неё на груди. Без очков лицо у неё было усталым и очень старым.

— Ещё раз, — сказала она, — и я напишу докладную. Не потому что я злая. Потому что мне за тебя отвечать. Понял?

— Понял.

— Иди работай.

Он пошёл.

У двери в зал она окликнула его:

— Глебушка.

Он обернулся.

Зоя Павловна стояла у кулера, с очками на груди, маленькая, в войлочных туфлях, с зелёным шарфом, перекинутым через руку.

— Если она на берегу не сидит, — сказала она, — так ты ей круг-то не кидай. Ты ей руку дай. Только не с нашей вышки. Понял меня?

Он не понял.

Он понял только утром.

* * *

Утром он шёл домой пешком. Через Канавино, мимо Ярмарки, мимо собора на Стрелке — тёмного, мокрого, с золотыми куполами, которые в сером октябрьском свете были не золотыми, а цвета старой меди. Мимо вокзала. Объявления — теперь близко, громко, на всю площадь: «Электропоезд на Дзержинск отправляется с первого пути».

Его студия — на пятом этаже серой панельки в пяти минутах от вокзала. Одна комната, кухня в нише, матрас на полу, потому что кровать он так и не купил. Двадцать восемь метров. Окно на пути. Ночью, когда не спится — а не спится всегда, — он лежит и слушает, как идут поезда. Товарные — долго, тяжело, по сорок вагонов, тук-тук, тук-тук, тук-тук. Пассажирские — быстрее, легче, с длинным гудком на повороте.

Он лёг на матрас, не раздеваясь. Положил телефон на грудь.

Шесть утра. Небо за окном — серое, как мокрый картон.

Он думал про руку, которую нельзя дать с нашей вышки.

Он думал, что у неё есть его фамилия, а у него — её номер. Он видел его на экране. Две ночи подряд. Он мог бы его запомнить. Он не стал запоминать. Это служебная информация. Это запрещено. Это — то, за что увольняют.

Он его запомнил.

Он лежал на матрасе, слушал, как идёт товарный — тук-тук, тук-тук, бесконечный, на Москву, — и смотрел в потолок.

Он думал: что она видит в три часа ночи? Тополь. Двор-колодец. Жёлтую стену.

Он подумал, что хотел бы увидеть это тоже.

Он не знал тогда, что она этого не видит. Что она видела это последний раз девять месяцев назад и теперь достаёт из памяти, как из шкатулки. По одному. Осторожно. Чтобы не стёрлось.

Он не знал. Он уснул в семь утра, с телефоном на груди, и ему впервые за девять месяцев приснилось не то, что всегда.

Ему приснилась бутылка из-под «Тархуна». И весь мир сквозь неё — зелёный. Как под водой.

Глава 3

Тая

Слышно: жук-точильщик, мамин голос в трубке, пианино через потолок

Я зарабатываю тем, что слушаю чужие голоса.

Восемь часов в день. Иногда десять. Наушники — большие, мягкие, закрытые, такие, в которых не слышно ничего, кроме того, что в них. Ноутбук на коленях. Программа, которая читает мне вслух всё, что на экране, — быстрым, высоким, механическим голосом, который я сначала ненавидела, а теперь разгоняю до такой скорости, что Лиза, когда слышит, говорит: «Это же белка на амфетаминах». Я понимаю белку. Я понимаю её лучше, чем понимала когда-то буквы.

Мне присылают аудиофайлы. Интервью, лекции, совещания, допросы свидетелей для одного адвокатского бюро, разговоры социологов с пенсионерами из деревень, о которых я никогда не слышала. Я слушаю — и печатаю. Слово в слово. С паузами, с «э-э», с кашлем, с «ну вот как бы». Двести рублей за минуту записи. Сложные — триста.

Печатать вслепую я умела и раньше. Это смешно, но да — я печатала вслепую с девятнадцати лет, когда работала администратором в фотостудии и писала клиентам по сорок сообщений в день. «Вслепую». Теперь это слово звучит как шутка, которую никто, кроме меня, не понимает.

Я хорошо работаю. Меня хвалят. Адвокат из бюро однажды написал: «Таисия, вы единственный расшифровщик, у которого в тексте слышно, как человек врёт». Я не знаю, как это получается. Я просто слышу. Когда человек врёт, у него на полсекунды меняется дыхание. Перед словом. Как будто он делает маленький вдох, чтобы набраться смелости. И голос становится чуть-чуть выше. Чуть-чуть ровнее. Как будто он идёт по канату и очень старается не упасть.

Я ставлю в таких местах многоточие. Адвокат говорит, что мои многоточия выиграли ему два дела.

Я слушаю чужие голоса восемь часов в день. А потом снимаю наушники, и мир возвращается — огромный, гулкий, без краёв.

* * *

Мама звонит по воскресеньям, в одиннадцать.

Всегда в одиннадцать. Минута в минуту. Как будто стоит у телефона с десяти пятидесяти девяти, держит палец над кнопкой и ждёт, когда на часах переключится цифра. Может быть, так и есть. Я не знаю. Я не видела маму с февраля.

Нет. Неправильно. Я не видела маму с января. Я её слышала. В феврале она приезжала в больницу, в реабилитационный центр на Нижегородской. Сидела у кровати. Держала меня за руку. От неё пахло её духами — теми же, что всегда, сладкими, тяжёлыми, с чем-то восточным — и ещё валерьянкой. Она говорила про погоду. Про Олега, который сломал палец на работе. Про соседку по даче. Про всё. Только не про Соню.

Она ни разу не сказала «Соня». С января.

— Тая? Это мама.

— Привет, мам.

— Как ты?

— Нормально.

— Ты ешь?

— Ем.

— Что ты ешь?

— Суп. Аркадий Львович принёс.

— Хорошо. Хорошо, что Аркадий Львович. Передай ему спасибо.

— Передам.

Пауза. Я слышу, как у неё на кухне работает телевизор. Какая-то передача — громкие голоса, смех из зала. Слышу, как Олег что-то спрашивает из комнаты — неразборчиво — и мама отвечает, прикрыв трубку ладонью: «Тая. Да. Сейчас».

— Ты гуляешь?

— Гуляю. С Бубликом.

— Одна?

— С Бубликом.

— Тая. Ну я же серьёзно.

— Я тоже серьёзно, мам. Бублик знает дорогу. Мы ходим до сквера и обратно. Каждый день.

— А если упадёшь? Там же лёд скоро.

— Не упаду.

— А если…

— Мам.

Пауза.

— Я на следующей неделе, может, приеду, — говорит она. — В субботу. Или в воскресенье. Посмотрю по Олегу.

Она говорит это каждое воскресенье. С марта.

— Хорошо, — говорю я.

— Ну, ладно. Ты звони, если что.

— Позвоню.

— Целую.

— Пока, мам.

Гудки.

Я сижу на кухне на подоконнике, с телефоном в руке, и слушаю, как жук-точильщик в бабушкином шкафу в коридоре грызёт дерево. Тик. Тик. Тик. Медленно, методично, как часы, которые никуда не торопятся.

Мама не приедет. Она не приезжала сюда с января. Ни разу. Ни на сороковой день, ни на полгода. Сороковой день мы делали в кафе на Автозаводе, недалеко от неё. На полгода мама не приехала. Аркадий Львович испёк пирог. Лиза принесла вино. Мы сидели на кухне втроём и молчали.

Мама не может сюда приехать. Я знаю почему. Здесь, в конце коридора, — дверь. Закрытая. За ней — комната, где Соня жила последние полтора года. С тех пор как поругалась с Олегом и ушла ко мне с рюкзаком и Бубликом, и мама плакала в трубку и говорила: «Таечка, пусть поживёт у тебя, пока не остынут». Они так и не остыли.

Мама не может приехать сюда, потому что здесь эта дверь. И потому что здесь я. Живая.

Я не обижаюсь. Правда. Я бы тоже не смогла.

Если бы у меня было две дочери, и одна из них везла другую в три часа ночи по мосту в метель, и не довезла, — я бы тоже не смогла смотреть на ту, что везла.

Хорошо, что мне не нужно смотреть.

* * *

— Подожди, — сказала Лиза. — Подожди-подожди-подожди. Ты влюбилась в голос из сто двенадцать?

— Я не влюбилась.

— Ты ему звонила. Дважды.

— Трижды. В первый раз — по делу. Со щенком.

— А дважды — без дела.

— Один раз без дела. Позавчера попала на какую-то девушку, она сказала, что так нельзя. Я извинилась и положила. А вчера…

— А вчера?

— А вчера попала на него.

Лиза поставила кружку на стол. Я услышала, как она поставила, — резко, со стуком, так, что кофе плеснул через край. Лиза всё делает резко. Ходит быстро, говорит громко, смеётся так, что на улице оборачиваются, — она сама мне рассказывала. Она свадебный фотограф. Мы вместе работали в студии на Варварке, когда мне было двадцать, а ей двадцать два. Она таскала свет, а я снимала. Потом она ушла на свадьбы, я — в портреты. Потом я ослепла. Она приходит ко мне по четвергам, приносит кофе из кофейни на углу, который я не люблю, потому что он с корицей, но пью, потому что его приносит Лиза.

— И что он сказал?

— Что не кладёт трубку первым.

— Это пароль какой-то? Это что значит вообще?

— Это значит, что он не кладёт трубку первым, — сказала я. — Никогда. Ни с кем.

— И вы проговорили…

— Тридцать восемь минут.

— Тая, — сказала Лиза. Совсем другим голосом. — Ты понимаешь, что это его работа? Его этому учат. Разговаривать с психами по ночам. Чтобы психи не прыгали с крыш. Это техника такая. Он с тобой говорит так же, как с бабкой, у которой кот на шкафу застрял.

— Я знаю.

— И ты понимаешь, что он не знает, что ты…

Она не договорила. Она никогда не договаривает это слово. Ни она, ни мама, ни Аркадий Львович. Все обходят его, как яму на тротуаре. «Что ты… ну». «В твоём… положении». «С твоими… обстоятельствами».

— Не знает, — сказала я.

— Ты ему не сказала?

— Нет.

— Почему?

Я подумала.

— Потому что первый раз за девять месяцев со мной кто-то говорит, как будто я… — Я тоже не договорила. — Как будто я — просто человек, которому не спится.

Лиза молчала. Долго. Потом я услышала, как скрипнул стул — она подвинулась ко мне. И её рука — горячая, с кольцами на каждом пальце, они звякнули о мою кружку — легла мне на запястье.

— Ты и есть просто человек, которому не спится, — сказала она.

— Нет. Я — человек, которому не спится, потому что…

— Тая.

— Ладно.

Мы помолчали. Жук в шкафу тикал. Тик. Тик.

— Он хоть красивый? — спросила Лиза.

Я засмеялась.

— Откуда я знаю?

— По голосу. Ты же у нас специалист по голосам. Многоточия свои ставишь.

Я подумала.

— Высокий, — сказала я. — Голос идёт сверху. Как будто он наклоняется к микрофону. Худой, наверное. Голос не толстый. Не спит. Давно не спит — у него паузы между словами длиннее, чем надо. И он чем-то занимался руками. Раньше. Не головой.

— С чего ты взяла?

— Он говорит, как будто держит. Не знаю, как объяснить. Как будто у него в руках что-то лежит, и он боится уронить.

Лиза молчала.

— Ну ты даёшь, — сказала она наконец. — Тебе бы в ФСБ.

— Мне бы в фотостудию, — сказала я.

Получилось не так, как я хотела. Получилось горько. Лиза сжала моё запястье. Кольца звякнули.

* * *

По вечерам наверху играет Аркадий Львович.

У него старый кабинетный рояль, «Красный Октябрь», который он сам перебирал по винтику двадцать лет назад, — он рассказывал. Рояль стоит прямо над моей кухней. Когда он играет, у меня на кухне тонко звенит люстра — подвески из стеклянных капелек, бабушкины. Я однажды хотела их снять, а потом подумала — пусть звенят. Это как будто люстра подпевает.

Он играет по вечерам с восьми до девяти. Час. Каждый день. Шопен, Шуман, Чайковский — «Времена года», ноябрь, «На тройке», он его любит больше всего. Иногда что-то джазовое, неуверенное, со сбоями — он учится, говорит, на старости лет хочет научиться джазу. Иногда — гаммы. Долго, медленно, вверх-вниз, вверх-вниз, как будто он проверяет, все ли клавиши на месте.

Раньше, до января, по вечерам играла Соня. У нас внизу — у бабушки — тоже есть пианино. Старенькое, «Лирика», с жёлтыми клавишами и подсвечниками по бокам. Соня занималась у Аркадия Львовича с семи лет. Бесплатно. «Таечка, у неё руки, — говорил он мне. — У неё такие руки — Господи. Ей бы в консерваторию». Соня не хотела в консерваторию. Соня хотела в айти, или в дизайнеры, или в Корею, или выйти замуж за корейского певца, или стать ветеринаром — каждый месяц что-то новое. Но играла. Каждый вечер. Говорила — для головы. Чтобы голова не взорвалась.

Я лежала на диване и слушала. Она играла плохо. Сбивалась, начинала сначала, ругалась шёпотом. Я говорила: «Сонька, не матерись». Она говорила: «Это не мат, это терминология».

С января пианино внизу молчит. Я не открываю крышку. Аркадий Львович предлагал его настроить — оно расстроилось, оно у нас всегда расстраивается к зиме, от батарей, — я сказала: «Не надо. Пусть». Он понял. Он больше не предлагал.

Теперь он играет наверху, и люстра у меня на кухне звенит, и Шопен — щенок, не композитор — подвывает ему сквозь потолок тонким голосом. Аркадий Львович сначала его выставлял в коридор. Потом перестал. Говорит — пусть, у мальчика слух. Шопен подвывает в «Ноябре» на одной и той же ноте, всегда на одной, и Аркадий Львович говорит, что это «фа-диез», и что это лучше, чем у половины его учеников.

Я лежу на диване внизу и слушаю.

Иногда мне кажется, что это Соня. Что она там, наверху, сбивается и начинает сначала. Я знаю, что это не она. Я всё равно слушаю.

* * *

Я позвонила ему в третий раз в ночь на тридцатое. То есть — в сто двенадцать. В три четырнадцать.

Я не собиралась. Я лежала в темноте, часы сказали своё «три часа четырнадцать минут», и я лежала и слушала, как помнит моё тело, и считала его голоса — висок, бедро, сердце, — и думала: не звони. Он сказал — нельзя. То есть он не сказал, но та девушка сказала, и я сама знаю. Это линия для тех, кто тонет.

Я не тону, сказала я себе. Я лежу на дне. Это разные вещи.

Я позвонила.

— Служба сто двенадцать, оператор…

Женский голос. Молодой. Та же, что в прошлый раз, когда я на него не попала. Я узнала — у неё чуть-чуть картавое «р» и лапша. Она ела лапшу, я слышала, как она жевала.

— Простите, — сказала я. — Это абонент. Со щенком. Я…

— Ой, — сказала девушка. Не зло. Скорее растерянно. — Подождите.

Щелчок. Тишина. Секунд десять. Я уже хотела положить.

— Оператор Северин.

— Это опять я, — сказала я. — Простите.

— Не извиняйтесь.

— Мне сказали, что вам за это будет.

Пауза.

— Кто сказал?

— Никто. Я сама. Я слышу. В прошлый раз, когда вы говорили «до свидания», у вас кто-то рядом стоял. Дышал. И вздохнул. Так вздыхают, когда собираются ругать.

Пауза. Длиннее.

Потом он засмеялся. Тихо, носом.

— Вы что, по дыханию слышите, кто где стоит?

— Иногда.

— Это была старшая смены.

— Она вас ругала?

— Немного.

— Тогда я положу, — сказала я. — Правда. Простите. Я не хочу, чтобы вас…

— Абонент.

— Да?

— Запишите номер.

Я не поняла.

— Какой номер?

— Мой. Личный. — Он говорил тише, чем обычно. Почти шёпотом. Как будто кто-то мог услышать. — Сто двенадцать — для тех, кто тонет. А вы… Если вам не спится — звоните сюда. Я тоже не сплю. Ночью — даже когда не на смене.

Я сидела на кровати, прижав телефон к уху.

— Это можно? — спросила я.

— Нет, — сказал он. — Нельзя. Записывайте.

Я записала. Я не могу записать на бумаге — я повторила его вслух, медленно, три раза, а потом он продиктовал ещё раз, а потом я повторила ещё раз. Одиннадцать цифр. Я помню их до сих пор. Я буду помнить их, когда забуду всё остальное. Даже свой.

— Как вас зовут? — спросила я.

Он помолчал.

— Глеб.

— Глеб, — повторила я.

Глеб. Не холодное и северное, как фамилия. Тёплое. Круглое. Как хлеб. Как глоток.

— А вас?

Я молчала.

— Не обязательно, — сказал он. — Можно — абонент.

— Абонент, — сказала я. — Пока — абонент. Можно?

— Можно.

— Спасибо, Глеб.

— До свидания, абонент.

Я положила трубку первой. Он же не кладёт.

* * *

В следующую ночь я позвонила ему на номер, который выучила наизусть.

Три часа четырнадцать минут. Я сидела на кровати. Я держала телефон обеими руками. Бублик сопел у ног. Наверху было тихо — Аркадий Львович давно спал, Шопен тоже.

Я набрала одиннадцать цифр. Медленно. Проговаривая про себя каждую. Телефон повторял за мной вежливым голосом: «Восемь. Девять. Ноль…»

Гудок.

Я подумала: он спит. Он сказал «не сплю», но это просто так говорят. Он спит. Сейчас я его разбужу. Он возьмёт трубку сонный, злой, скажет: «Вы на часы смотрели?» — и я провалюсь сквозь землю, сквозь первый этаж, сквозь подвал, прямо в бабушкин погреб с проросшей картошкой.

Второй гудок.

— Не сплю, — сказал он.

Голос был другой. Не тот, что на работе. Без гарнитуры, без гула ламп, без далёких чужих голосов. Близкий. Тёплый. Чуть сиплый — как будто он лежал и давно не говорил вслух. И вокруг — тишина. Не та тишина, что в большой комнате. Маленькая. Квартирная. И где-то далеко за ней — я прислушалась — длинный, глухой, ритмичный стук. Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук.

— Что это? — спросила я.

— Что?

— Стучит. Далеко.

Он помолчал. Прислушался, наверное.

— Поезд, — сказал он. — Товарный. У меня окно на пути. Вокзал рядом.

— Какой?

— Московский.

— Вы на Канавине живёте?

— Да.

Я помолчала. Канавино. Та сторона. На той стороне — Ярмарка, вокзал, Стрелка с собором. Чтобы попасть туда отсюда, с Ильинской, нужно спуститься к площади Маркина и переехать Оку.

По Канавинскому мосту.

Я не была на той стороне с января.

— Абонент?

— Здесь.

— Вы замолчали.

— Слушаю поезд, — сказала я.

Он не стал спрашивать. Он вообще редко спрашивал. Он просто молчал вместе со мной, и мы слушали, как где-то на той стороне реки идёт поезд, бесконечный, на сорок вагонов, тук-тук, тук-тук, тук-тук, и мне казалось, что это не поезд, а сердце. Огромное, медленное. Чьё-то.

— Расскажите, что у вас за окном, — сказал он.

Я подумала.

Я помню, что у меня за окном. Я видела это двадцать три года — сначала из бабушкиных рук, когда она поднимала меня к подоконнику, потом сама. Двор-колодец. Тополь — огромный, старый, наклонённый, как будто прислушивается к чему-то в соседнем окне. Жёлтая стена соседнего дома — облупленная, с проплешинами, сквозь которые проступает красный кирпич. Чья-то сушилка на балконе третьего этажа. Пожарная лестница. Мусорные баки. Кошка.

Я не знаю, есть ли там ещё кошка. Может быть, её давно нет. Может быть, тополь спилили. Может быть, стену перекрасили в синий. Я не знаю. Я помню. Это всё, что у меня есть.

— Тополь, — сказала я. — Старый. Почти голый уже — октябрь. Последние листья жёлтые, как монетки. Наклонился к соседнему окну — как будто подслушивает. Двор-колодец.

Стена напротив — жёлтая. Не ярко-жёлтая, а такая… как старая бумага. Как письма в бабушкином сундуке. Облупилась, и под ней кирпич. Красный. На третьем этаже — балкон, там сушат бельё. Сейчас висят простыни. Белые. В темноте — как привидения.

Он молчал. Слушал.

Я придумала простыни. Про простыни я не знала. Я сказала — и мне стало стыдно и страшно, и в то же время — очень хорошо. Как будто я снова стою у окна и смотрю. Как будто мне снова двадцать четыре, и я фотограф, и я ищу свет.

— Красиво, — сказал он.

— Я фотограф, — сказала я.

Я не знаю, зачем я это сказала. Это вырвалось само. Как смех.

— Правда?

— Правда. Портреты. — Я сглотнула. — Снимала. Снимаю.

Снимаю. Настоящее время. Ложь. Первая — настоящая — ложь. Не умолчание, не «темно в подъезде». Ложь, сказанная вслух.

Я слышала, как она звучит. У меня перед ней — маленький вдох. И голос чуть выше. Чуть ровнее. Как по канату.

Он не заметил. Он не мог заметить. Он не ставит многоточий.

— Тогда понятно, — сказал он.

— Что понятно?

— Почему вы так говорите про цвета. Как будто достаёте из шкатулки.

Я замерла.

— Как это?

— Не знаю, — сказал он. — Осторожно. По одному. Как будто они очень дорогие и их мало.

Я сидела на кровати. Держала телефон. Далеко-далеко, на той стороне реки, шёл поезд.

Они очень дорогие. Их очень мало. С каждым месяцем — меньше. Я не помню уже, какого цвета у Сони были глаза. Я помню — «серо-голубые». Слово помню. А цвет — нет. Он стёрся. Как фотография, которую слишком часто доставали из конверта.

— Да, — сказала я. — Их мало.

Он не спросил почему. Он никогда не спрашивал «почему». Он просто был там. На том конце. На той стороне. Не клал трубку.

Мы говорили до четырёх двадцати. Потом я сказала: «Спокойной ночи, Глеб». Он сказал: «Спокойной ночи, абонент».

Я положила трубку первой.

Я легла, натянула одеяло до подбородка и слушала дом. Холодильник. Трубу. Жука в шкафу. Тик. Тик. Тик.

И думала про то, что я ему соврала. И что он сказал «красиво». Про простыни, которых, может быть, нет. Про двор, которого я не видела девять месяцев.

И что это — первое красивое, что я сделала с января.

Глава 4

Глеб

Смена: выходной · Входящий в 03:14 · Длительность: 1 ч 12 мин

Она звонит в три четырнадцать.

Не в три тринадцать и не в три пятнадцать. Каждый раз — в три четырнадцать. Он сначала думал, что она ставит будильник. Потом спросил. Она сказала: «Нет. Я просто просыпаюсь». Он спросил — почему именно тогда. Она сказала: «Долгая история». Он больше не спрашивал.

Но каждый раз, когда телефон на матрасе рядом с его головой начинает вибрировать — ровно, как по часам, три часа четырнадцать минут, — у него внутри что-то сжимается. Он не знает что. Какая-то мышца, которой нет в анатомическом атласе. Сжимается и разжимается. Как кулак.

Он берёт трубку на втором гудке. Всегда на втором. Не на первом — чтобы она не думала, что он лежит и ждёт. Он лежит и ждёт.

— Не сплю, — говорит он.

Это теперь их «алло». Её «алло» — молчание. Секунда. Две. Потом:

— Я знаю.

* * *

В ночи, когда он на смене, она не звонит. Он сказал ей свой график — ночь через ночь, — и она запомнила с первого раза. Он даже не удивился. Она запоминает всё, что он говорит. Цифры, имена, слова. Он однажды упомянул, что Катя у двери ест лапшу со вкусом курицы, и через неделю она спросила: «А Катя всё ещё на курице, или перешла на говядину?»

В ночи, когда он на смене, в три четырнадцать он встаёт из-за стола и идёт в курилку. Зоя Павловна смотрит на него поверх очков. Ничего не говорит. Спицы стучат. Он выходит под козырёк, к ржавой урне и глухой стене склада, и пишет в мессенджере одно слово:

«Здесь».

Она отвечает через минуту. Всегда через минуту — ровно, как будто считает до шестидесяти. Он не знает, почему так долго. Однажды хотел спросить. Не спросил.

«Здесь».

И всё. Больше ничего. Он стоит под козырьком десять минут, держит телефон в руке и смотрит на это слово. Её «здесь». Как будто она стоит рядом с ним под козырьком. Как будто она — где-то в темноте, в двух шагах, просто молчит.

Потом возвращается за стол.

Зоя Павловна вяжет.

* * *

Они придумали игру. Вернее, она придумала. В третью или четвёртую ночь, когда разговор иссяк и они просто молчали, слушая каждый свою тишину, она вдруг сказала:

— Давайте меняться.

— Чем?

— Звуками. Я говорю вам, что слышу. Вы — мне. По очереди. Кто первый собьётся — тот проиграл.

— А что проигравшему?

— Рассказывает что-нибудь про себя. Настоящее.

Он подумал.

— Давайте.

— Я первая. — Она помолчала. — Холодильник. Он только что вздрогнул и замолчал.

— Поезд. Пассажирский. Далеко. Гудит на повороте.

— Труба в ванной. Длинный вздох. Это сосед наверху.

— Ветер в форточке. Свистит.

— Свистит как? — спросила она.

— Что значит — как?

— Ну, свистит — это как? Тонко? Низко? С перерывами? Как чайник? Как будто кто-то свистит собаке? Как суслик?

— Как суслик, — сказал он, — я не знаю. Я не слышал, как свистит суслик.

— Я тоже, — сказала она. — Но я знаю, что они свистят. Это надо уметь представить.

Он прислушался. Он никогда в жизни так не прислушивался к ветру в собственной форточке.

— Тонко, — сказал он. — На одной ноте. И с перерывами. Свистит — замолкает — свистит. Как будто кто-то дует в бутылку. В пустую. Стеклянную.

— Из-под «Тархуна»? — спросила она.

Он засмеялся. Громко. Сам от себя не ожидал. Звук его собственного смеха в пустой студии был таким непривычным, что он замолчал и прислушался к нему, как к чужому.

— Вот, — сказала она. — Смех. Это мой. Я его услышала.

— Так нечестно. Это у меня.

— А услышала я. Значит, мой.

— Так нечестно, — повторил он.

— Вы проиграли, — сказала она. — Рассказывайте. Что-нибудь настоящее.

Он лежал на матрасе и смотрел в потолок. По потолку медленно шли полосы света от фонаря во дворе — ветер качал фонарь, полосы качались. Туда-сюда. Туда-сюда.

— У меня мама живёт в Бору, — сказал он.

* * *

Он ездит к маме по воскресеньям. На канатке.

Можно на маршрутке, через Борский мост, — дольше, но дешевле. Можно на машине, если бы она у него была. Он ездит на канатке. Девять лет. С тех пор как мама переехала к тёте Вале в Бор, после того как ей стало хуже и стало ясно, что одна она уже не сможет.

Нижняя станция — у Сенной площади, на Казанской набережной, рядом с мечетью. Он приходит к десяти, когда ещё нет туристов. Покупает билет. Садится в кабину — маленькую, на восемь человек, с жёсткими сиденьями и стёклами, исцарапанными чужими ключами и чужими именами. «Лена + Саша». «Дима был тут». «Я тебя люблю, Оксана, прости». Кабина дёргается, отрывается от платформы — и плывёт.

Сначала — над крышами. Над частным сектором, над гаражами, над голыми деревьями. Потом — вниз, вниз, к реке. Потом — река.

Волга в ноябре — серая, широкая, тяжёлая. Как расплавленный свинец. Течёт медленно, без блеска. Ветер морщит её мелкой рябью, и рябь похожа на кожу старика. Берега — далеко. Тот, борский, — низкий, плоский, с полосой леса. Этот, нижегородский, — высокий, крутой, с монастырём на откосе, с куполами, с ниткой набережной у самой воды.

Кабина висит над водой. Восемьсот с лишним метров. Двенадцать минут. Покачивается. Скрипит. Когда ветер — раскачивается сильнее, и пассажиры хватаются за поручни и нервно смеются. Глеб никогда не хватается. Он сидит у стекла и смотрит вниз, на воду.

Это единственные двенадцать минут в неделе, когда ему не нужно никого держать.

* * *

— Расскажите про маму, — сказала она.

Он рассказал.

Про то, что маме шестьдесят. Что у неё инсульт был двадцать лет назад. Что она выжила, а речь — нет. Не вся. Половина. Даже меньше. Что она понимает всё, абсолютно всё, но сказать может только отдельные слова. Одно. Иногда два. «Хорошо». «Глеб». «Холодно». «Иди».

«Чай». Что первые годы она плакала, когда не могла сказать то, что хотела, — а потом перестала плакать и научилась говорить одним словом так, что в нём помещалось всё. Целая фраза. Целое письмо.

Что когда он приезжает, она говорит «Глеб» — и в этом слове помещается: «Я тебя ждала с утра, я сидела у окна, тётя Валя ругалась, что я не ем, я знала, что ты приедешь, ты всегда приезжаешь, ты похудел, ты не спишь, я вижу, что не спишь».

Он рассказал всё это в темноту — и замолчал. Он никогда никому этого не рассказывал. Даже Рустаму. Рустам знает, что мама болеет. Больше ничего.

Она молчала долго.

— Я бы хотела с ней поговорить, — сказала она наконец.

— Она не может разговаривать.

— Я не про разговаривать. Я про — поговорить.

Он не понял. Потом понял.

— Она бы вам понравилась, — сказал он.

— Она мне уже нравится.

Он лежал на матрасе и чувствовал, как та мышца, которой нет в атласе, сжимается — и не разжимается.

— Теперь вы, — сказал он.

— Что?

— Расскажите что-нибудь настоящее.

— Я же не проиграла.

— Всё равно.

Она молчала. Он слышал, как она дышит. Как где-то у неё скрипнула половица. Как вздохнула большая собака.

— У меня была сестра, — сказала она.

Была.

Он не спросил.

Он понял, что не спросит. Что она скажет сама — когда сможет. Или не скажет никогда. Он знал это «была». Он слышал его тысячу раз. На кухнях, в коридорах, у подъездов. Оно всегда звучало одинаково — как будто человек ставит на стол очень тяжёлую вещь и боится, что она разобьётся.

— Расскажите про неё, — сказал он. — Что-нибудь. Не обязательно — всё.

Она помолчала.

— Она играла на пианино, — сказала она. — Плохо. И материлась, когда сбивалась. А когда я говорила — не матерись, она говорила: это не мат, это терминология.

Он засмеялся.

Она засмеялась тоже.

И это был самый странный смех, который он слышал в жизни. Смешной и страшный одновременно. Как будто два человека стоят на краю обрыва, держатся за руки и смеются.

* * *

— Ты кого-то нашёл, — сказал Рустам.

Они сидели в пельменной у вокзала. Утро пятницы. Рустам — после суток, Глеб — после ночи. Пельменная открывалась в семь, и в семь пятнадцать там сидели только они двое и таксист в углу, который спал над тарелкой. Пахло уксусом, лавровым листом и мокрыми куртками.

— С чего ты взял?

— Ты улыбаешься. — Рустам ткнул в него вилкой. — Ты сидишь и улыбаешься в пельмени. Ты в последний раз улыбался в пельмени в позапрошлом году, когда тебе Михалыч на день рождения подарил тельняшку на три размера меньше.

— Я не улыбаюсь.

— Улыбаешься. Я фельдшер, у меня глаз. Кто она?

Глеб подумал.

— Абонент.

Рустам перестал жевать.

— Чего?

— Абонент. Сто двенадцать. Позвонила ночью. Щенок у неё в подъезде скрёбся.

— И?

— И теперь она звонит. Каждую ночь. В три четырнадцать.

Рустам смотрел на него. Долго. С пельменем на вилке.

— Как зовут?

— Не знаю.

— Сколько лет?

— Не знаю.

— Как выглядит?

— Не знаю.

Рустам положил вилку.

— Северин, — сказал он. — Ты в своём уме? Ты влюбился в голос в телефоне?

— Я не влюбился.

— Ты сидишь и улыбаешься в пельмени.

— Это не значит…

— Это значит. — Рустам наклонился над столом. Он был большой, широкий, с чёрной бородой и руками, которыми мог поднять носилки с центнером на третий этаж без лифта, — Глеб видел. Голос у него был громкий всегда. Даже когда он шептал, его было слышно через два стола. Таксист в углу заворочался. — Это значит, Северин, что ты живой. Ты знаешь, сколько я этого ждал? С января. Ты с января ходил как… — Он поискал слово. — Как пациент. Который сам не знает, что он пациент. Я на тебя смотрел и думал — всё. Кончился Северин. Отличный был фельдшер. Лучший на подстанции. Кончился.

— Рустам.

— Не перебивай. — Рустам ткнул в него пальцем. — Я тебе одно скажу. Как друг. Как брат. Найди её. Увидь её. Поговори с ней не по телефону. Голос — это хорошо. Голос — это не всё.

— А если…

— Что?

Глеб посмотрел в тарелку.

— Если она — не то. Если она увидит меня — и не то.

— А если ты её — и не то?

Глеб помолчал.

— Не может быть, — сказал он.

Рустам засмеялся. Громко, на всю пельменную. Таксист проснулся и посмотрел на них мутными глазами.

— Северин, — сказал Рустам, отсмеявшись. — Ты пропал. Ешь пельмени. Остынут.

Глеб ел пельмени.

— Возвращайся, — сказал Рустам. Тихо, для него — тихо. — На станцию. Я тебе серьёзно. Тебя ждут. Заведующий спрашивал. Мы с тобой опять на седьмой. Ты фельдшер от Бога, Северин. Ты сам знаешь.

— Нет.

— Год почти прошёл.

— Нет, Рустам.

Рустам смотрел на него.

— Ты ничего не мог сделать, — сказал он. — Я тебе это говорил там, на мосту. Я тебе это говорил в феврале. Я тебе это говорю сейчас. Я видел заключение. Там…

— Я знаю.

— Не знаешь. Ты не читал.

— Мне не надо читать.

— Надо, — сказал Рустам. — Тебе — надо.

Глеб встал. Положил на стол деньги — за себя и за Рустама.

— Мне пора. Спать.

— Ты не спишь.

— Теперь сплю, — сказал Глеб.

Это была правда. Он и сам удивился, когда понял. Теперь — спал. После трёх четырнадцати. После её голоса. Ложился — и проваливался, как в воду. До полудня.

Рустам смотрел на него снизу вверх. Потом кивнул.

— Ладно, — сказал он. — Иди спи. Абонент.

* * *

В воскресенье он рассказал маме.

Они сидели на кухне у тёти Вали, в борском деревянном доме с резными наличниками и печкой, которую тётя Валя топила, хотя был газ, — «для души». Тётя Валя ушла в магазин. Мама сидела у окна, в кресле, в своей вязаной кофте цвета топлёного молока. На коленях — плед. Правая рука — на подлокотнике. Левая — на коленях, неподвижная, как будто чужая. Двадцать лет — чужая.

Он сидел напротив, на табуретке. Пил чай. Мама смотрела на него. Внимательно. Мама всегда смотрела внимательно — с тех пор как потеряла слова, она научилась смотреть так, что слова становились не нужны.

— Глеб, — сказала она.

В этом слове было: «Что-то случилось. Ты другой. Рассказывай».

Он рассказал. Не всё. Про щенка. Про три четырнадцать. Про то, что она смеётся, как будто смех застрял. Про то, что она фотограф. Про то, что у неё была сестра.

Мама слушала. Не перебивала. Она не могла перебить.

Когда он замолчал, она долго смотрела в окно. На голые берёзы, на серый забор, на соседскую козу, которая стояла у забора и жевала что-то с философским лицом.

Потом повернулась к нему.

— Девочка, — сказала она.

В этом слове был вопрос. И улыбка.

— Абонент, — сказал он.

Мама засмеялась.

Он не слышал, как она смеётся, — давно. Может, год. Может, больше. Её смех был тихим, хриплым, кривым — правая половина лица смеялась, левая нет. Но это был смех. Её. Мамин.

Потом она перестала смеяться. Посмотрела на него. Серьёзно.

— Глаза? — сказала она.

Он не понял.

— Какие у неё глаза? — Это было в слове. Он научился слышать.

— Не знаю, мам. Не видел.

Мама смотрела на него. Долго. Потом подняла правую руку. Медленно. Тяжело. Протянула через стол. Положила ему на щеку. Ладонь — тёплая, сухая, лёгкая, как бумага.

— Увидь, — сказала она.

* * *

Ночью он лежал на матрасе и ждал три четырнадцать.

Он думал про маму. Про «увидь». Про Рустама. Про «голос — не всё».

Он думал, что у него есть её номер. С первой ночи. Служебная информация, которую он не имел права запоминать и запомнил. По номеру можно найти что угодно. Он знает, как. Он мог бы узнать её имя, адрес, всё. Он даже адрес знал — она назвала его в первую ночь, со щенком. Ильинская. Первый этаж. Он вбил его в карточку собственными пальцами.

Он мог бы прийти. Встать у подъезда. Посмотреть на окна. На тополь, который подслушивает. На жёлтую стену. На простыни на третьем этаже.

Он не пойдёт. Это нечестно. Она не дала ему ни имени, ни лица. Она дала ему голос. Он не возьмёт больше, чем дали.

Он думал про другое.

Про то, что она никогда не говорит «вижу». Ни разу. Он стал замечать это недели две назад — и теперь не мог перестать. «Слышу». «Помню». «Чувствую». «Знаю». Никогда — «вижу». Когда он спрашивает, что у неё за окном, — она отвечает не сразу. Каждый раз — пауза. Короткая, на полвдоха. Как будто она не поворачивает голову к окну, а открывает какую-то коробку внутри себя и достаёт оттуда — тополь, стену, простыни.

Про то, что она фотограф — и ни разу не говорила ни про одну съёмку. Ни про клиента, ни про свет, ни про камеру. Только «снимала. Снимаю». Через запинку.

Про то, что она никогда не говорит, куда ходила днём. Только — с собакой до сквера и обратно. Каждый день. Одно и то же.

Он думал: может быть, она больна. Может быть, она не выходит из дома. Он видел таких. Агорафобия. Депрессия. После утраты люди иногда запираются в квартире, как в раковине, и не выходят месяцами. Звонят по ночам в сто двенадцать, потому что больше некому.

У меня была сестра.

Он думал: может быть, она так и не вышла оттуда. Из того дня, когда сестра стала «была». Может быть, она стоит там до сих пор. Как он стоит до сих пор у выгнутого ограждения на мосту, глядя на белую реку, которой не видно.

Может быть, они оба стоят там. Каждый на своём мосту. И звонят друг другу через реку.

Три часа четырнадцать минут.

Телефон завибрировал.

Он дождался второго гудка.

— Не сплю, — сказал он.

Тишина. Секунда. Две.

— Я знаю, — сказала она. И потом, быстро, как будто боялась передумать: — Глеб. Можно я задам вопрос? Один. Настоящий.

— Можно.

— Вы когда-нибудь держали кого-нибудь за руку? Не так — а по-настоящему. Когда человек… уходит. Держали?

Он перестал дышать.

За окном шёл товарный. Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук.

— Да, — сказал он.

— Это страшно?

Он закрыл глаза.

Маленькая холодная ладонь в его левой руке. Становится холоднее. И холоднее.

— Да, — сказал он. — Это страшно.

Она молчала.

— Почему вы спрашиваете? — спросил он. Первый раз — «почему».

— Потому что я — нет, — сказала она. — Не держала. А должна была.

И замолчала. И он понял, что больше она ничего не скажет. Сегодня — нет.

Они лежали каждый в своей темноте, на разных берегах одной реки, и молчали. Товарный прошёл. Стало тихо. Только её дыхание в трубке. И его.

— Глеб?

— Здесь.

— Спасибо, что не спрашиваете.

— Я подожду, — сказал он. — Сколько надо.

Она положила трубку в четыре двадцать шесть. Первой. Как всегда.

Он долго лежал с телефоном на груди. Смотрел, как по потолку качаются полосы света. Туда-сюда. Туда-сюда.

Он не знал, что до той ночи, когда она скажет, оставалось меньше двух недель.

И что после той ночи он больше не сможет спать.

Глава 5

Тая

Слышно: щелчок рекордера, колокол на Ильинской, романс через потолок

Рекордер лежал в нижнем ящике комода, под зимними свитерами, в чёрном матерчатом чехле с застёжкой-молнией. Я нащупала его по форме — продолговатый, как толстый фломастер, с двумя микрофонами наверху, сложенными крест-накрест, как ушки. Холодный пластик. Колёсико громкости сбоку. Кнопка записи — круглая, чуть выпуклая, в самой середине. Я провела по ней пальцем и вспомнила, что она красная.

Помню, что красная. Цвет — нет.

Соня подарила мне его на двадцать четыре. В августе. За пять месяцев до. Она копила с весны — откладывала со своих карманных, которые ей давала мама и которые она называла «алименты». Принесла в коробке, перевязанной кухонным шпагатом, потому что ленточки у нас не нашлось. Сказала: «Будешь свадьбы снимать — звук писать. Нормальный, а не как у Лизки в айфоне, где тосты как из бочки». Я тогда не снимала свадьбы. Я снимала портреты. Соня сказала: «Ну так начнёшь. Деньги там. Все знают».

Я ни разу им не воспользовалась. В августе было некогда, в сентябре — заказы, в октябре — Соня поругалась с подругой и неделю плакала по ночам, в ноябре — не помню, в декабре — Новый год. Потом был январь.

Потом я убрала его в ящик. Под свитера. Как убирают вещи мёртвых.

А теперь достала.

* * *

Всё из-за игры.

Он сказал — ветер в форточке свистит, как будто дуют в пустую бутылку. И я лежала потом до утра и думала: я никогда так не слушала. Даже теперь. Даже когда уши — это почти всё, что у меня осталось. Я слушаю, чтобы не упасть. Чтобы найти дверь. Чтобы понять, кто идёт по лестнице. Чтобы услышать, когда человек врёт. Я слушаю — как держусь за перила.

А он слушал — чтобы рассказать мне.

И мне вдруг захотелось тоже. Рассказать ему. Не словами — словами я вру, словами я описываю простыни, которых нет. А звуками. Настоящими. Которые нельзя придумать.

Я села на кровать. Включила рекордер. Он пискнул — коротко, высоко. Я нащупала кнопку. Нажала. Щелчок.

И стала слушать, как он слушает мою комнату.

Холодильник. Бублик — вздыхает во сне. Где-то на улице кто-то кашляет. Где-то наверху Аркадий Львович ходит в тапках — шарк, шарк, остановился, шарк. Шопен тявкает. Ветер.

Я записала четыре минуты. Потом нажала стоп. Потом нашла на телефоне, как отправить файл. Это заняло двадцать минут — программа читала мне меню, я путалась, нажимала не туда, начинала сначала. Соня бы сделала это за десять секунд. Соня бы сказала: «Тай, ну ты бабка».

Я отправила.

Подписала — голосом, программа превратила голос в буквы: «Моя комната. Три часа дня. Угадайте, что где».

Он ответил через час. Тоже файлом.

Я нажала. Сначала — тишина. Потом — шорох, будто кто-то поправил телефон. Потом — далёкий, нарастающий, долгий гул. И металлический стук. Тук-тук. Тук-тук. Ближе, громче, быстрее. Потом — гудок. Длинный, низкий, прямо в ухо. И снова — тук-тук, тук-тук, тук-тук. И снова тише. И тишина. И его голос — совсем близко, шёпотом, как будто он прижал телефон к губам:

«Товарный. Сорок два вагона. Я считал. Пока вы угадываете, что у вас где, — вот что у меня».

Я слушала это восемь раз подряд.

Сорок два вагона. Он считал.

* * *

— Ты что, на улицу хочешь? — сказала Лиза. — Сама? Ты? Не до сквера?

— С тобой.

— Тая, ты полгода не соглашалась даже до «Пятёрочки».

— Восемь месяцев, — сказала я. — Я хочу на Покровку.

Лиза помолчала.

— Зачем?

Я показала ей рекордер.

Она взяла его у меня из рук. Я услышала, как она вертит его — пластик тихо цокнул о её кольца.

— Это же Сонькин, — сказала она. Очень тихо. — Который она тебе…

— Да.

— Ты его достала.

— Да.

Лиза молчала. Потом я услышала, как она шмыгнула носом. Громко, некрасиво, по-лизиному.

— Одевайся, — сказала она. — Тепло. Там ветер. Шапку надень. И шарф. И перчатки. Не те, которые у тебя дырявые.

— Они не дырявые.

— Тая, на левой нет большого пальца. Его Бублик сожрал. В марте.

— Я не знала.

— Ну вот теперь знаешь. Надевай мои.

* * *

Большая Покровская в субботу днём звучит как огромная комната, в которой все говорят сразу.

Я этого не помнила. Я ходила по ней тысячу раз — до. На съёмки, с подругами, с Соней за мороженым, одна. Но я её смотрела. Витрины, вывески, лица, свет на брусчатке, отражения в лужах, голуби, дома — бордовые, охристые, голубые, с лепниной и балкончиками. Я её смотрела и никогда не слушала.

А она звучит.

Шаги. Сотни. Каблуки — частые, острые, цок-цок-цок, как дятел. Ботинки — глухие, тяжёлые. Детские сапожки — шлёп-шлёп, неровно, вприпрыжку. Чья-то коляска — скрип колеса, на каждом обороте, раз-два, раз-два. Голоса — обрывками, как радио, когда крутишь ручку: «…а я ей говорю…» — «…до пяти работает…» — «…мам, ну мам, ну купи…» — «…короче, он вообще…»

Где-то играет гитара. Уличный музыкант. Поёт хрипло, громко, мимо нот — что-то про лето, хотя ноябрь. Рядом кто-то кидает монеты в чехол — звяк, звяк.

Голуби — над головой, хлопают крыльями, как будто кто-то трясёт мокрое бельё.

Колокол.

Он пришёл сверху и сбоку — со стороны Ильинской. Один удар. Глубокий, медленный, круглый. Повис в воздухе. Расплылся. Второй. Третий.

Я остановилась посреди улицы. Лиза врезалась в меня сзади. Кто-то обошёл нас, ругнувшись.

— Тая?

— Подожди.

Я держала рекордер над головой. Как ребёнок держит воздушный шарик. Колокол бил. Двенадцать. Полдень.

Я слышала его каждый день. Восемь месяцев. Из окна, из кухни, со своей кровати. Ильинская церковь, в трёх домах от нас. Каждый полдень. Я слышала его, как слышат тиканье часов, — не замечая.

А сейчас я стояла посреди Покровки, подняв руку с рекордером, и слушала его так, как будто это первый колокол в моей жизни.

Двенадцать ударов. Потом — тишина. Не настоящая — гул улицы вернулся, шаги, голоса, гитара, голуби. Но там, наверху, где был колокол, — ещё висел его след. Как запах после того, как человек вышел из комнаты.

— Ты чего? — сказала Лиза.

Я опустила руку.

— Ничего, — сказала я. — Записала.

* * *

Мы сели в кофейне у Театральной. Лиза заказала себе капучино, мне — чай. Без корицы. Я попросила.

Она положила на стол что-то тяжёлое. Стук был знакомый. Такой знакомый, что у меня свело пальцы.

— Это что? — спросила я.

— Камера. Я после тебя на съёмку. Там девочка, выпускница, портреты.

Я протянула руку.

Лиза подвинула её ко мне. Я нащупала. Холодный металл. Шершавая прорезиненная рукоятка — под ладонь, под пальцы. Тяжёлый объектив. Колёсико под указательным пальцем. Кнопка спуска.

Я положила палец на кнопку. Не нажимая. Просто положила.

Я помнила, как это — смотреть в видоискатель. Прижать камеру к лицу, к брови, к скуле. Закрыть второй глаз. Мир сужается до прямоугольника. Остаётся только то, что в нём. Лицо. Свет на лице. Тень под скулой. Блик в зрачке. Всё остальное исчезает, и ты остаёшься наедине с этим лицом, и ждёшь. Ждёшь, когда человек забудет, что его снимают. Когда что-то в нём откроется. Секунду. Полсекунды. И тогда — палец сам.

— Можно? — спросила я.

— Что?

— Нажать.

Лиза помолчала.

— Там ничего не будет. Ты же… Объектив на меня смотрит, я сейчас без макияжа, я страшная.

— Можно?

— Нажимай.

Я подняла камеру. Поднесла к лицу. Прижала к брови.

Темнота. Та же самая, что всегда. Ничего не изменилось. Видоискатель — просто холодный пластик у глаза.

Я нажала.

Щелчок.

Короткий. Сухой. Двойной — сначала открылся затвор, потом закрылся. Чк-чк. Я слышала этот звук сто тысяч раз. Он был мой. Он был как мой собственный голос. Как моё имя.

Я опустила камеру. Положила на стол.

— Тай, — сказала Лиза.

Я не ответила.

— Тая. Там… Получилось. — Голос у неё был странный. — Я посмотрела на экран. Получилось.

— Что?

— Я. С чашкой. Нерезко немножко. Но… Тай. У меня здесь такое лицо, которое я сама у себя никогда не видела. Как будто я… — Она не договорила.

Я сидела, держа руки на коленях, под столом, чтобы она не видела, как они трясутся.

— Сотри, — сказала я.

— Не сотру.

— Сотри, Лиз.

— Нет, — сказала Лиза. — Это твой. Первый. После.

* * *

Вечером я отправила ему колокол.

Двенадцать ударов, шаги, гитару, голубей. Подписала голосом: «Полдень на Покровке. Колокол — с Ильинской, я там живу рядом. Угадайте, что делает человек с гитарой».

Он ответил в десять:

«Поёт про лето. В ноябре. Мимо нот. Это я угадал, это было несложно. А вот почему у вас на записи в самом конце кто-то говорит „нерезко немножко“?»

Я не стерла конец. Не заметила. Рекордер был в кармане, когда мы сидели в кофейне. Он писал всё.

Я сидела на кухне, с телефоном в руке, и думала, что ответить.

Я написала: «Подруга. Фотографировала».

Не соврала. Почти.

Он ответил: «Нерезко — это ничего. Резко — это не главное».

Я не знала, понимает ли он, что сказал. Наверное, нет. Наверное, он просто так. Но я сидела на кухне и смотрела в темноту перед собой — я всегда смотрю перед собой, по привычке, так, чтобы люди не пугались, — и плакала. Тихо. Без звука. Так, чтобы даже Бублик не услышал.

Нерезко — это ничего.

* * *

Одиннадцатого ноября Соне исполнилось бы семнадцать.

Я проснулась в три четырнадцать — как всегда. Не позвонила — он был на смене. Он написал «Здесь». Я ответила через минуту. Мне нужна минута, чтобы найти кнопки, программа зачитывает их по одной, а пальцы дрожат. Он не знает. Он, наверное, думает, что я считаю до шестидесяти, чтобы не выглядеть нетерпеливой.

Я лежала до утра.

Днём мама не позвонила. Я позвонила ей сама. В двенадцать, когда отбил колокол. Она не взяла. Я позвонила в два. Не взяла. В четыре. Олег взял.

— Тая? Это Олег. Ира… Ира прилегла. Ей нехорошо сегодня. Ты понимаешь.

— Понимаю.

— Я передам, что ты звонила.

— Хорошо.

— Тая.

— Да?

Олег помолчал. Я никогда с ним особенно не разговаривала. Он был — мамин муж. Высокий, громкий, пахнущий бензином и одеколоном «Шипр», который никто уже не покупает. Он на Соню орал. Соня на него орала. Из-за этого всё и было.

— Мне жаль, — сказал Олег. Неловко, хрипло. — Что я на неё тогда. Ну. Ты знаешь. Мне жаль.

Я не знала, что ответить.

— Мне тоже, — сказала я.

Он положил трубку.

* * *

В восемь вечера Аркадий Львович не стал играть «Ноябрь».

Я лежала на диване, как всегда. Ждала — люстра на кухне зазвенит, Шопен подхватит свой фа-диез. Восемь ноль-ноль. Тишина. Восемь пять. Восемь десять.

Потом — шаги наверху. Медленные. От окна к роялю. Скрип табурета.

И он заиграл.

Не Чайковского. Что-то другое. Я сначала не узнала. Медленное, плавное, кружащееся. Три четверти — раз-два-три, раз-два-три, — как вальс, но не вальс. Мелодия начиналась высоко, тихо, и спускалась, и снова поднималась, и снова спускалась, — как снег, который ветер подхватывает у самой земли и уносит вверх. Грустная. Нет — не грустная. Хуже. Нежная. Такая нежная, что от неё было больно.

Люстра на кухне тонко звенела.

Я лежала на диване.

И мне стало холодно.

Сразу. Целиком. Как будто кто-то открыл окно и в комнату ударил ветер — со снегом, с ледяной крошкой. Пальцы — ледяные. Колени. Затылок. В левом виске — там, где шрам, — что-то кольнуло, тонко и глубоко, как иголка.

Я села.

Сердце колотилось. Во рту стало кисло. Меня затошнило — резко, сильно, как в машине на серпантине.

Наверху играла музыка. Нежная, кружащаяся, раз-два-три.

Я не знала эту музыку. Я была уверена, что не знаю её. Я никогда её не слышала.

Тело знало.

Я встала. Пошла в ванную — по стенке, быстро, задевая плечом косяк. Нашла раковину. Открыла холодную воду. Плеснула в лицо. Ещё раз. Ещё.

Наверху музыка кончилась. Последняя нота — высокая, тихая — повисла и растаяла.

Тишина.

Потом шаги. От рояля к окну. Скрип половиц. Шопен заскулил — тонко, жалобно. Аркадий Львович что-то сказал ему — я не разобрала. Голос был тихий, хриплый.

Больше он в тот вечер не играл.

Я стояла в ванной, вцепившись в раковину, и ждала, когда пройдёт. Прошло минут через десять. Не совсем. Осталось — где-то в груди, под рёбрами. Как осколок.

* * *

— Что вы играли вчера? — спросила я наутро.

Аркадий Львович принёс мне молоко и хлеб. Он стоял в прихожей, шуршал пакетом, ставил что-то на полку. Шопен у него на руках вертелся и пищал — хотел к Бублику.

Пакет перестал шуршать.

— Вчера? — сказал Аркадий Львович.

— Вечером. Не «Ноябрь». Что-то другое. Медленное. На три четверти.

Пауза. Короткая. На полвдоха.

— Свиридов, — сказал он. — «Метель». Романс. Это… Нина любила. Жена. Я иногда… для неё.

— Красиво, — сказала я.

— Да, — сказал он. — Красиво.

Он поставил пакет на полку. Звякнуло стекло — бутылка молока о бутылку.

— А что? — спросил он. Голос был обычный. Мягкий, хрипловатый. — Тебе мешало? Ты скажи, Таечка. Я не буду, если мешает.

— Не мешало.

— Ты бледная.

— Не выспалась.

— Господи, — сказал он. — Ну ты хоть чаю попей. С мёдом. Я мёд принёс, вон, на полке, гречишный. Нина всегда говорила — гречишный от всего.

Он ушёл наверх. Шаги. Остановка на седьмой ступеньке. Шаги.

Я стояла в прихожей.

Перед словом «Свиридов» у него была пауза. Маленькая. На полвдоха. Как будто он набирал воздух, чтобы сказать. Как будто шёл по канату.

Я подумала — ерунда. Это я. Это у меня. Я всё слышу через свои многоточия. Мне везде мерещится канат.

Это просто музыка. Его жена её любила. Он её играет. Иногда. Для неё. Это нормально. Это красиво.

Я пошла на кухню. Поставила чайник. Нашла на полке банку с мёдом — тяжёлую, стеклянную, с бумажной наклейкой.

Чайник зашумел.

Под рёбрами сидел осколок. Тихий. Холодный.

Я налила чай. Положила мёд. Пила медленно.

Не помогло.

* * *

В три четырнадцать я позвонила ему.

Ночь с одиннадцатого на двенадцатое. Его выходная. Я знала его график лучше, чем свой.

— Не сплю, — сказал он.

— Я знаю, — сказала я.

Голос у меня был не такой. Я сама услышала. И он услышал.

Он ничего не сказал. Подождал.

— Сегодня плохой день, — сказала я. — Вчера. То есть — сегодня. Уже прошёл. Но плохой.

— Понял.

Тишина.

— Вы не спросите почему?

— Нет.

— Почему?

— Потому что вы скажете, если захотите.

Я лежала на спине. Смотрела в темноту. Бублик сопел у кровати. Наверху было тихо — так тихо, что я слышала, как скрипит тополь во дворе.

— У сестры сегодня день рождения, — сказала я. — Было бы. Семнадцать.

Он молчал. Долго. Я слышала, как он дышит. Как у него за окном проходит поезд — пассажирский, быстро, с длинным гудком.

— Хотите, я вам расскажу, какое сейчас небо? — сказал он. — Над Канавином.

Я не ответила. Я не могла.

Я слышала, как он встал. Как скрипнул пол. Шаги — босые, пять шагов. Щелчок. Скрип — открылась форточка. Холодный воздух — я слышала его, как он ворвался к нему в комнату: шум улицы, далёкий, приглушённый, и ветер.

— Облаков нет, — сказал он. — Первый раз за неделю. Небо — чёрное. Не совсем чёрное. Над вокзалом — рыжее, от фонарей. Как будто там внизу что-то горит, но не страшно. Тепло горит. А выше — чёрное. И звёзды. Мало. Штук пять. Город мешает. Но одна — яркая. Прямо над водокачкой. Мигает. Не белая — голубоватая. Как будто кто-то оттуда подаёт сигнал. Фонариком. Точка-точка-тире.

Я лежала с закрытыми глазами. Не потому что это что-то меняло. По привычке.

— И луна, — сказал он. — Половинка. Справа. Низко, над крышами. Жёлтая, но не как фонари. Холодная. Как кусок масла из морозилки. С краю — как будто откусили.

Я засмеялась. Сквозь слёзы. Тихо.

— Это ей, — сказал он. — Сестре. С днём рождения.

Я не могла говорить. Я лежала и держала телефон у уха, и плакала, и смеялась, и в груди, под рёбрами, где сидел осколок, — стало тепло. Немножко. Как будто кто-то подышал на замёрзшее стекло.

Он не клал трубку. Он стоял у открытой форточки — я слышала ветер — и молчал вместе со мной.

— Глеб, — сказала я наконец.

— Здесь.

— Можно я в следующий раз расскажу? Всё. Почему три четырнадцать. Почему не сплю. Почему «была». Можно?

— Можно.

— Не сегодня. В следующий раз. Мне надо… собраться.

— Я подожду.

— Вы всегда ждёте.

— Это моя работа, — сказал он.

— Нет, — сказала я. — Не работа. Я знаю, как звучит работа. Это — не работа.

Он помолчал.

— Нет, — согласился он. — Не работа.

Я положила трубку в пять ноль две. Первой.

Я лежала и думала, что в следующий раз скажу. Всё. Про мост, про метель, про три четырнадцать. Про Соню. Может быть — даже про то, что я не вижу. Что простыней нет. Что «снимаю» — неправда. Может быть.

Наверху было тихо.

Под рёбрами, где был осколок, — ещё держалось тепло. Луна, как кусок масла из морозилки. С краю откусили.

Я уснула, улыбаясь.

Я не знала, что музыка на три четверти — раз-два-три, нежная, кружащаяся, как снег, — уже нашла меня. Что она будет приходить. Каждую неделю. Сверху. Сквозь потолок.

Что тело помнит.

Тело всегда помнит.

Глава 6

Глеб

Смена: выходной · Входящий в 03:14 · Длительность: 47 мин

Тринадцатого ноября, в час сорок семь ночи, на крышу шестнадцатиэтажки в Верхних Печёрах вышел человек и позвонил в сто двенадцать.

— Я на крыше, — сказал он. — Я сейчас прыгну. Я звоню, чтобы вы потом не искали долго. Адрес запишите.

Голос был спокойный. Совершенно спокойный. Деловой. Как будто он звонил в управляющую компанию сообщить о протечке.

Глеб записал адрес. Одной рукой. Второй — уже отправлял: полиция, МЧС, скорая. Переговорщик. На мониторе карточка заполнялась сама собой — его пальцы знали, куда нажимать, раньше, чем он успевал подумать.

— Как вас зовут? — спросил он.

— Неважно.

— Мне — важно. Я не могу говорить с человеком, у которого нет имени. Я так не умею.

Пауза.

— Виталий.

— Виталий. Я Глеб. Вы где сейчас стоите, Виталий? У края?

— У края.

— Сидите или стоите?

— Стою.

— Можете сесть? Ветер сегодня. Я по сводке смотрел — порывы до двенадцати. Вас сдует раньше, чем вы решите. Это же будет нечестно. Вы решили сами — а получится, что ветер.

Пауза. Длинная. Ветер в трубке — гулкий, сильный, на высоте он всегда другой.

— Сел, — сказал Виталий.

— Спасибо.

Глеб снял очки, которых у него не было, — это был жест, который он перенял у Зои Павловны и сам не заметил. Потёр переносицу. Посмотрел на таймер. Минута двадцать. Наряд будет через двенадцать. МЧС — через пятнадцать. Переговорщик — неизвестно, переговорщик в эту ночь был один на весь город и сейчас сидел где-то на Автозаводе, с другим.

Пятнадцать минут. Как минимум.

Нужно не уговаривать. Он знал это. Его учили — и он сам знал, без учёбы. Не говорить «не делайте этого». Не говорить «подумайте о близких». Не говорить «всё будет хорошо». Человек на крыше всё это уже слышал — от себя самого, сто раз, тысячу. Он уже со всем этим поспорил и выиграл. Если ты начнёшь спорить — ты проиграешь.

Нужно просто держать. Голосом.

— Виталий, — сказал Глеб. — Можно я вас попрошу? Не про это. Про другое.

— Про что?

— Я сижу в комнате без окон. Двенадцать часов. Неба не видел неделю — я с ночей на ночи, днём сплю. Опишите мне, что вы видите. Оттуда. Сверху. Мне правда интересно.

Тишина. Ветер.

— Вы издеваетесь? — сказал Виталий.

— Нет. Честно. Шестнадцатый этаж, Печёры. Это же над самым откосом. Оттуда должно быть видно — всё.

Тишина.

— Волгу видно, — сказал наконец Виталий. Неохотно. — Тёмная. Как асфальт. Только блестит местами. Где фонари на набережной.

— А на том берегу?

— Бор. Огоньков мало. Там спят все. Мост видно. Борский. Подсвеченный.

— Каким цветом?

— Голубоватым. Как лёд.

— А канатку видно?

Пауза.

— Видно. Опоры. Красные огоньки наверху мигают. Для самолётов.

— Кабины едут?

— Ночью не ездят. Висят. Тёмные. Как… — Виталий замолчал.

— Как что?

— Как ёлочные игрушки. Которые с ёлки сняли, а убрать забыли.

Глеб закрыл глаза.

— Красиво, — сказал он.

— Ничего не красиво, — сказал Виталий. И голос у него дрогнул. Первый раз.

Глеб услышал это. Трещину. Маленькую. В спокойном, ровном, деловом голосе — трещину. Он вцепился в неё. Не голосом — всем собой.

— Виталий. А что вы видели с этой крыши раньше? Вы же туда не в первый раз вышли. Я слышу. Вы там ходите как дома.

Долгая тишина.

— С сыном выходили, — сказал Виталий. — Летом. Ему восемь было. Звёзды смотреть. Он телескоп хотел. Я ему купил. Китайский. Плохой. Мы в него Луну смотрели. Он кричал — папа, там кратеры! Как в кино!

— Сколько ему сейчас?

— Двенадцать.

— Где он?

— С матерью. В Кстово. Она его забрала. В апреле.

— Вы с ним говорите?

Тишина.

— Он мне вчера написал, — сказал Виталий. Голос треснул совсем. — Спросил — папа, а телескоп у тебя? Можно я его заберу? У нас тут в Кстове небо тёмное, звёзды видно.

— И что вы ответили?

— Ничего. — Виталий плакал. Глеб слышал. Ветер, и сквозь ветер — как плачет мужчина, который не умеет плакать. Захлёбываясь, некрасиво, стыдясь. — Ничего не ответил. Я не знаю, где он. Телескоп. Я не знаю, куда я его… Я всё… Я ничего не помню, что куда… Я…

— Виталий. Послушайте меня. — Глеб говорил медленно. Очень медленно. Как будто держал на весу что-то тяжёлое и хрупкое. — Телескоп можно найти. Можно купить новый. Хороший. Не китайский. Но ваш сын спросил не про телескоп.

— А про что?

— Он спросил — папа, можно я приеду? Он только по-другому сказал. Двенадцать лет — так не говорят. Так говорят — а телескоп у тебя?

Тишина. Ветер. Плач.

Минута. Две.

— Виталий?

— Здесь.

— Вам нужно ему ответить. Он ждёт. Он вчера спросил — и ждёт. Вы же знаете, как это — ждать ответа. Это хуже всего.

* * *

Наряд поднялся на крышу через четырнадцать минут. МЧС — через семнадцать. Глеб слышал всё это в трубке: железную дверь чердака, голоса, шаги по рубероиду. Виталий сидел

в метре от края, спиной к городу, лицом к двери чердака. Он сам так повернулся — Глеб попросил: «Сядьте лицом к двери. Чтобы видеть, кто идёт. Чтобы вас не напугали».

Когда полицейский подошёл, Виталий не встал. Он сидел и держал телефон у уха. Полицейский присел рядом на корточки. Что-то сказал — тихо, Глеб не разобрал.

— Глеб, — сказал Виталий.

— Здесь.

— Они пришли.

— Я знаю. Идите с ними. Они хорошие.

— А вы?

— А я подожду, пока вы спуститесь.

Шаги. Железная дверь. Лестница — гулко, эхом. Лифт. Скрежет. Двери лифта. Снова шаги. Снова дверь — уже подъездная, с писком домофона. Улица. Голоса. Мотор машины.

— Глеб?

— Здесь.

— Вы правда подождали.

— Я никогда не кладу трубку первым.

Тишина.

— Спасибо, — сказал Виталий. — Я напишу ему. Сейчас. Из машины.

Гудки.

Глеб снял гарнитуру. Положил на стол. Посмотрел на таймер.

Шестьдесят четыре минуты.

Руки у него тряслись. Не сильно. Чуть-чуть. Как будто он час держал на вытянутых руках что-то тяжёлое — и только что опустил. Он положил ладони на стол, плашмя. Прижал. Подождал, пока перестанут.

Зоя Павловна стояла рядом. Он не слышал, как она подошла.

— Иди постой, — сказала она.

Он встал. Пошёл.

У двери она его окликнула:

— Глебушка.

Он обернулся.

— Ты руками говоришь, — сказала Зоя Павловна. — Знаешь? Голосом — а руками. Я тридцать лет слушаю. Так мало кто умеет. Голос у тебя — как будто ты держишь.

Он постоял в дверях.

— Абонент тоже так говорит, — сказал он. Сам не зная зачем.

Зоя Павловна посмотрела на него. Поверх очков. Ничего не сказала. Кивнула.

* * *

Он спал днём тринадцатого до трёх часов дня. Без снов. Проснулся с ощущением, что что-то должно случиться. Как перед экзаменом. Как перед первым выездом, девять лет назад, когда ему было двадцать и он сидел на подстанции в новенькой синей форме, и колено у него прыгало само по себе, и Михалыч сказал: «Не ссы, студент. Первый раз — не страшно. Страшно — сотый».

Он сварил гречку. Не стал есть. Сходил в магазин. Ничего не купил. Вернулся. Помыл пол — зачем-то, первый раз за месяц. Лёг на матрас.

«В следующий раз расскажу. Всё».

Он лежал и смотрел в потолок, и ждал ночи.

Он думал: что бы она ни сказала — это ничего. Он слышал всё. Он видел всё. Девять лет на скорой. Он видел, как люди теряют детей, родителей, ноги, глаза, разум. Он держал их за руки, когда они теряли. Он знает, как звучит любая беда. Её беда — тоже какая-то из этих. Он узнает её. Он её выдержит.

Он думал, что готов.

* * *

Три часа четырнадцать минут.

Второй гудок.

— Не сплю, — сказал он.

Тишина. Секунда. Две. Три. Дольше, чем обычно.

— Я знаю, — сказала она. Голос — тихий, ровный. Слишком ровный. Как у человека, который репетировал. — Глеб. Я обещала.

— Можно не сегодня.

— Нет. Сегодня. Если не сегодня — я никогда.

— Хорошо.

Он сел на матрасе. Прислонился спиной к холодной стене. Подтянул колени.

Она дышала в трубку. Он слышал — она тоже села. Скрип пружин. Большая собака вздохнула.

— Меня зовут Тая, — сказала она.

Тая.

Он не сразу понял, почему что-то внутри — та мышца, которой нет в атласе, — вдруг дёрнулась. Как от удара током. Не сильно. Чуть-чуть. Тая. Таисия. Он слышал это имя… Он не помнил где. Где-то. Давно.

— Тая, — повторил он.

— Таисия. Миронова. Мне двадцать пять. В августе исполнилось.

Миронова.

Таисия Миронова.

Он не дышал.

— У меня была сестра, — сказала она. — Соня. Софья. Младше на восемь лет. Мы жили вдвоём, здесь, у бабушки, после того как Соня поругалась с отчимом. Полтора года жили. Ей было шестнадцать.

Он не дышал.

Где-то далеко, за окном, шёл товарный. Тук-тук. Тук-тук.

— В январе, — сказала она. — Шестнадцатого. Пятница. Она отпросилась к подруге на ночь. День рождения у подруги. На Канавине, у Мещерского озера. Я разрешила. Она взрослая уже, думала я. Шестнадцать. Пусть.

Тук-тук. Тук-тук.

— Она позвонила мне в два сорок. Ночью. Плакала. Говорила — Тай, забери меня. Пожалуйста. Забери. Я не поняла, что случилось. Поругались с кем-то. Я потом узнала — с подругой. Из-за мальчика. Ерунда. Шестнадцать лет. Но она плакала так, что я… Я оделась и поехала.

Тук-тук.

— У меня была машина. Старая. Маленькая. «Киа». Красная. Как божья коровка — Соня так говорила. Я её на первые деньги купила, со съёмок. Мела метель. Сильная. Я ехала медленно. Я забрала её. Она села, и молчала, и плакала, и я не спрашивала. Я включила печку. И мы поехали домой. Через мост.

Он не мог дышать. Он сидел, прижавшись спиной к стене, и стена была ледяной, и он не чувствовал холода.

— Канавинский, — сказала она. — Канавинский мост. Три часа четырнадцать минут. Я помню время. Я посмотрела на часы на панели. Три четырнадцать. Я подумала — через десять минут будем дома.

Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук.

Поезд за окном — бесконечный. Сорок вагонов. Он не считал.

— Слева что-то ударило. Большое. Я не видела — что. Свет. Удар. Нас понесло. Я помню, как Соня закричала. Один раз. Коротко. Потом — ограждение. Скрежет. Нас перевернуло. Я помню, как мир лёг на бок.

Она замолчала. Он слышал — она дышит. Часто. Как будто бежала.

— Потом я помню плохо, — сказала она. — Кусками. Было темно. Очень темно. Я висела на ремне. Нога — горячая, мокрая. Голова — как будто в ней что-то лопнуло. Я звала Соню. Я не знаю, ответила она или нет. Я не слышала.

Тук-тук.

— Потом — музыка, — сказала она. — Откуда-то. Скрипки. Как по радио. Медленная. И кто-то рядом. Мужчина. Он сказал… — Она запнулась. — Он сказал «Господи». Два раза. «Господи. Господи». Так — как будто ему очень страшно. А потом — шаги. Убегающие. Скользят по льду. И музыка оборвалась. И стало тихо.

Глеб закрыл глаза.

Высокий человек в тёмном пальто. Без шапки. Стоит, наклонившись над машиной. Выпрямляется. Смотрит на синие огни. Бежит. Падает на одно колено. Поднимается. Открытая дверь. Скрипки. Хлопок. Огни уходят к площади Маркина.

— А потом пришёл другой, — сказала она.

Тишина.

Её голос стал другим. Тише. Мягче. Как будто она говорила о чём-то, что держала в ладонях.

— Я не помню лица, — сказала она. — Совсем. Было темно. Я помню только голос. Он сказал — я фельдшер. Скорая. Я здесь. Он что-то делал с моей ногой — было очень больно, я помню. Потом держал мне голову. И говорил. Всё время говорил. Не останавливаясь. Я не помню слов. Только — одно. Он повторял его много раз. «Оставайтесь со мной». «Слышите? Оставайтесь со мной». И я — оставалась. Я держалась за его голос. Как за… Я не знаю как. Как за верёвку. Я схватила его за что-то. За карман. Там было что-то твёрдое, круглое. Я держала.

Яблоко.

Он сидел на матрасе, в темноте, прижав телефон к уху так, что болела скула.

Яблоко. Твёрдое, холодное. С отпечатками пальцев на кожуре. Он выбросил его через неделю. Оно лежало в кармане куртки, он не мог его вынуть, а потом однажды утром вынул и выбросил в урну у вокзала, не глядя. И потом стоял у урны полчаса. И хотел достать. И не достал.

— А Соня, — сказала Тая, — умерла. Там. В машине. Пока он держал меня.

Тишина.

Поезд за окном кончился. Последний вагон. Тук-тук. Тишина.

Абсолютная.

— Глеб?

Он не мог ответить.

— Глеб. Вы здесь?

Он открыл рот.

— Здесь, — сказал он.

Голос был не его. Чужой. Сухой, как бумага.

— Вот, — сказала она. — Вот почему три четырнадцать. Каждую ночь. Двести девяносто… я не помню. Почти триста. Тело помнит. Психотерапевт так говорит. Тело помнит, во сколько. Я просыпаюсь — и лежу. И слушаю. И жду, что сейчас будет удар. Слева.

Он молчал.

— Я его ищу, — сказала она.

— Кого? — Он сам не узнал свой голос.

— Того фельдшера. С голосом. — Она помолчала. — Не того, который убежал. Того — пусть полиция. Хотя полиция никого не нашла. Дело приостановили, мне письмо приходило. Не установлено лицо. Пусть. Я ищу другого. Который «оставайтесь со мной».

— Зачем? — Его голос. Чужой. Бумажный.

Она молчала долго.

— Я хочу спросить у него одну вещь, — сказала она. — Только одну. Я знаю, что он не виноват. Я знаю, что он спас меня. Мне сказали — если бы не он, я бы за четыре минуты… Ну. Я знаю. Я благодарна. Правда. Я хочу ему сказать спасибо. Но сначала — спросить.

— Что?

— Почему меня?

Глеб перестал существовать.

Он сидел на матрасе, у ледяной стены, с телефоном у уха, — и его не было. Было тело. Было сердце, которое колотилось так, что он слышал его в ушах, в висках, в зубах. Были руки, которые тряслись. Но его — Глеба — не было. Он был там. На мосту. На коленях в луже — тёплой, скользкой. Он держал правой рукой — руку той, что наверху. Левой — холодную маленькую ладонь той, что внизу.

Младшая открывает глаза. Шевелит губами. Он наклоняется к самому её лицу.

— Почему меня, а не её? — сказала Тая. Тихо. — Она же была внизу. Он же мог… Он же мог к ней. Ей шестнадцать. Она бы… У неё всё было впереди. Консерватория, Корея, айти, ветеринар, корейский певец — она каждый месяц новое придумывала. Ей было шестнадцать, Глеб. А мне — двадцать четыре. Я уже… Я уже что-то успела. Почему он выбрал меня?

Он молчал.

— Мне сказали — сортировка, — сказала она. — Что есть такое правило. Помогают тому, у кого больше шансов. Что у меня была кровь, а у неё — внутри, и там ничего нельзя было. Я знаю. Мне Аркадий Львович читал заключение. Я понимаю. Головой. Но я… Я хочу услышать от него. От него самого. Его голосом. Почему меня. Может быть, тогда я перестану просыпаться в три четырнадцать.

Он молчал.

Он не мог сказать ни слова. Ни одного. Если он скажет хоть слово — оно будет правдой. А правду он не может сказать. Не сейчас. Не так. Не по телефону, в четыре утра, ей, которая ищет его, — и не знает, что нашла.

И не может сказать другой правды. Той, что глубже. Той, которую он девять месяцев носит в себе, как яблоко в кармане. Того, что сказала младшая.

Он обещал.

— Глеб?

— Здесь.

— У вас голос изменился.

Он закрыл глаза.

— Я… просто слушаю.

Пауза.

Он услышал — она услышала. Перед словом «просто» у него был вдох. Маленький, на полвдоха. И голос — чуть выше. Чуть ровнее. Как по канату.

Она услышала. Он знал, что она слышит такое. Она ему рассказывала — про многоточия. Про адвоката. Про то, как звучит, когда человек врёт.

Она ничего не сказала.

Тишина. Долгая.

— Простите, — сказала она наконец. — Я вам всё это… в четыре утра. Это тяжело. Я понимаю. Вы же тоже не железный. Вы каждую ночь это слушаете — чужое. А я ещё и своё.

— Не извиняйтесь.

— Я найду его, — сказала она. — Я решила. Я ещё не знаю как. В полиции, может быть. Или на подстанции. Или… Не знаю. Найду.

Он молчал.

— Глеб, вы поможете мне? — спросила она. — Вы же знаете, как это всё устроено. Скорая, сто двенадцать. Где искать. Кто был в ту ночь. Вы поможете?

Он сидел у стены.

За окном было тихо. Ни одного поезда. Как будто вся железная дорога остановилась и слушала.

— Помогу, — сказал он.

Он не знал, правда это или ложь. Он сам больше не слышал разницы.

* * *

Она положила трубку в четыре ноль одну. Первой. Как всегда.

Сорок семь минут.

Он сидел у стены, с телефоном в руке. Экран погас.

Он сидел так до рассвета. До того, как небо за окном стало серым, мокрым, картонным. До того, как по путям прошёл первый пассажирский — на Москву, с длинным гудком на повороте.

Он вспоминал.

Не мост. Мост он помнил всегда — каждую ночь, каждую секунду, каждый звук. Мост был с ним, как шрам на брови. Он вспоминал другое. Утро после. Восемнадцатое января. Подстанция. Новости на телефоне у Михалыча — Михалыч читал вслух, громко, с выражением, как всегда читал новости. «На Канавинском мосту ночью произошло смертельное ДТП. Неизвестный водитель скрылся с места происшествия. Погибла шестнадцатилетняя пассажирка. Водитель автомобиля „Киа“, двадцатичетырёхлетняя Таисия М., госпитализирована в тяжёлом состоянии…»

Таисия М.

Он тогда не запомнил имени. Он запретил себе запоминать. Он не стал узнавать, что с ней. Выжила ли. В какой больнице. Ничего. Он сказал себе — я сделал, что мог. Дальше — не моё. Он закрыл эту дверь. Заколотил гвоздями.

А потом в октябре, в три двадцать две ночи, у него на пульте зазвонил телефон. И голос сказал: «Кто-то скребётся».

Он сидел у стены и смотрел, как светлеет окно.

Она его ищет.

Она хочет спросить: почему меня.

Он знает ответ.

Он единственный на земле, кто знает ответ. И он обещал — шестнадцатилетней девочке, на мосту, в метель, наклонившись к самому её лицу, чувствуя щекой её дыхание, — что никогда его не скажет.

Он сидел у стены.

Он думал: позвони ей. Сейчас. Скажи. «Тая. Это был я». Три слова. Это просто. Это честно.

Он думал: и что потом? Она спросит — почему. Он не может ответить. Он скажет — сортировка. Она скажет — я знаю про сортировку, я хочу правду. И он будет молчать. И она поймёт, что он врёт. Она слышит, когда врут. И тогда она… И тогда — что?

Он думал: она возненавидит меня.

Он думал: так мне и надо.

Он думал: нет. Не сейчас. Не ей. Ей нельзя ещё одну беду. Она только начала смеяться. Двести восемьдесят ночей не смеялась — и начала. Он слышал. Он не может это отнять.

Он думал: ты трус. Ты просто трус, Северин. Ты боишься, что она тебя возненавидит. Тебе не её жалко. Тебе себя жалко.

Он думал — и не мог перестать думать. Мысли бегали по кругу, как собака за собственным хвостом.

В восемь утра он встал. Подошёл к окну. Открыл форточку. Холодный воздух ударил в лицо — мокрый, с запахом мазута и снега. Первого снега. Он не заметил, когда пошёл. Мелкий, редкий, тающий на лету.

На путях стоял товарный. Пустой. Вагоны — бурые, ржавые, с меловыми надписями. Ждал.

Глеб стоял у окна.

Она его искала. Девять месяцев.

А он был здесь. На том конце. Каждую ночь. В три четырнадцать.

Он не клал трубку первым.

Он никогда не клал трубку первым.

Он стоял у открытой форточки, и снег падал ему на лицо, и таял, и стекал по щекам, и он не вытирал. Это был снег. Только снег.

Часть вторая. Абонент не отвечает

«Если абонент не отвечает, оператор повторяет вызов»

Глава 7

Тая

Слышно: вдох перед словом «просто», Бублик у порога, кольца Лизы о чашку

После той ночи он стал говорить по-другому.

Не сразу. В первую ночь — четырнадцатого на пятнадцатое — он был на смене и написал «Здесь», как всегда. Я ответила через минуту, как всегда. Всё было как всегда.

А на следующую ночь я позвонила в три четырнадцать, и он взял трубку на втором гудке, как всегда, и сказал «Не сплю», как всегда, — и голос был другой.

Не чужой. Его. Но — осторожный. Как будто он шёл по комнате, где на полу расставлены стеклянные вещи, и боялся задеть. Он говорил меньше. Делал паузы — не те, длинные, от бессонницы, которые я уже знала и любила, а другие. Короткие. Перед словами. Как будто каждое слово он сначала держал во рту и проверял — можно? И только потом отпускал.

Я сказала ему: «Вы устали?»

Он сказал: «Немного».

Не соврал. Вдоха не было.

Я сказала: «Это из-за меня? Из-за того, что я вам рассказала?»

Пауза. Длинная.

«Нет, — сказал он. — Не из-за вас».

Вдох был. Маленький. На полвдоха. И голос — чуть выше.

Я не стала спрашивать. Я лежала и думала: я его сломала. Он слушает чужие беды по двенадцать часов за смену, а я ему ещё и свою — ночью, в его выходной, когда он должен отдыхать от чужих бед. Я взвалила на него мешок, и он теперь не знает, куда его поставить. Это нечестно. Это как прийти к врачу в гости на день рождения и показывать ему свою язву.

Но было ещё что-то. Я это чувствовала — не ушами, а чем-то, для чего у меня нет названия. Что-то, что началось в ту ночь, на слове «Канавинский». Он замолчал — и молчал до самого конца. А потом сказал «просто слушаю». С вдохом.

Он что-то знал.

Или — подумал о чём-то. О ком-то. Он работает в сто двенадцать. Он знает, как всё устроено. Кто дежурил в ту ночь. Какие бригады. Может быть, он даже знает того фельдшера. Может быть, они знакомы. Может быть, сидят в одной курилке, под одним козырьком, у одной ржавой урны.

Может быть, он знает — и не хочет говорить. Потому что тот, другой, ему друг. Потому что тот, другой, не хочет, чтобы его искали. Потому что…

Я не знала. Я лежала в темноте и слушала, как он молчит.

* * *

— Вы узнали что-нибудь? — спросила я на четвёртую ночь.

— Про что?

— Про фельдшера. Вы обещали помочь.

Пауза.

— Это сложно, — сказал он. — Персональные данные. Скорая — не наша система. Это другое ведомство. Я не могу просто так… Мне нужно время.

Вдоха не было. Это была правда. Но не вся. Я слышала — в правде была дырка. Как в перчатке, у которой нет большого пальца. Снаружи — перчатка. Внутри — пусто.

— Хорошо, — сказала я. — Я подожду.

— Тая.

Он первый раз назвал меня по имени. За все ночи после той. Я услышала, как он его произнёс — медленно, осторожно, как будто взял в руки что-то очень горячее.

— Да?

— Зачем вам это? — сказал он. — Правда. Зачем? Он же… Что бы он ни сказал — Соню это не вернёт. И три четырнадцать — может быть, не уйдёт. Может быть, станет хуже. Вы же не знаете, что он скажет.

— Не знаю, — сказала я.

— А если он скажет что-то, после чего… — Он замолчал.

— После чего — что?

— Не знаю. — Голос у него был глухой. — После чего будет только хуже.

Я подумала.

— Хуже, чем не знать, — сказала я, — не бывает.

Он молчал.

— Вы знаете, как это — не знать? — сказала я. — Каждую ночь. Лежать и думать: почему. Почему я. Почему не она. Может быть, у меня было больше крови и он подумал — эту успею. Может быть, она уже умирала и он видел, что поздно. Может быть, он просто не дотянулся. Может быть, она была внизу, и он не мог к ней достать, а ко мне мог. Может быть — просто так. Случайно. Подумал — эта. Монетку бросил. Я перебираю каждую ночь. Как бусины. И каждая бусина — хуже предыдущей. Потому что каждая — это я. Каждая — это «я жива, а она нет». И ни одна не настоящая. Понимаете? Я не знаю, какая — настоящая.

Тишина.

Я слышала, как он дышит. Тяжело. Неровно. Как будто я его ударила.

— Понимаю, — сказал он.

Шёпотом.

Без вдоха.

* * *

Аркадий Львович испугался.

Я спросила его в среду, когда он принёс мне продукты. Спросила просто, между делом, пока он раскладывал по полкам гречку и консервы, — я слышала, как звякают банки, как шуршат пакеты, как он бормочет себе под нос: «Это сюда… Это — Таечка не любит, но надо…»

— Аркадий Львович, а вы не знаете, как найти бригаду скорой? Которая была. Тогда. В январе.

Банка выскользнула у него из рук. Стукнула о полку. Покатилась. Он поймал.

— Что? — сказал он.

— Бригаду. Скорой. Которая приехала на мост. Того фельдшера. Который меня… Вы же читали мне документы. Там не было фамилии?

Тишина.

Я слышала, как он стоит. Неподвижно. Не дыша.

— Зачем тебе, Таечка? — сказал он наконец. Тихо. Хрипло.

— Хочу поблагодарить.

— Господи, — сказал он. — Господи. Ну зачем… Ну зачем ворошить. Девочка моя. Тебе нельзя. Тебе доктор что говорил — нельзя волноваться. Ты только-только… Ты только начала спать. Я же слышу — ты спишь теперь. По утрам. Раньше ты не спала, ходила, я слышал. А теперь спишь. Ну зачем?

Он говорил быстро. Слишком быстро для него. Обычно он говорит медленно, с паузами, с «вот», с «понимаешь», как будто каждое слово ему надо сначала найти на полке. А тут — сыпал. Как горох из порванного пакета.

— Я просто хочу сказать спасибо, — повторила я.

— Ну… — Он выдохнул. — Ну я не знаю, Таечка. Я не помню. Там, в бумагах… Там же медицинское было. Не про бригаду. Я не помню. Правда.

Вдох перед «правда». Маленький.

Я подумала — он просто боится за меня. Он старый. Он столько всего видел. Он похоронил Нину. Он видел меня в марте, когда меня привезли из больницы, когда я не могла встать с кровати и не могла есть, когда я лежала и смотрела в потолок, которого не видела, по двадцать часов в сутки. Он носил мне суп. Он сидел у меня на кухне и читал мне вслух — газеты, книги, документы, всё, что я просила. Он не хочет, чтобы это повторилось.

Он просто боится.

— Хорошо, — сказала я. — Не надо. Забудьте.

— Вот, — сказал он с облегчением. — Вот и правильно. Вот и хорошо.

Он доложил продукты. Поставил чайник. Мы пили чай. Он рассказывал про Шопена, который научился открывать дверцу шкафчика под раковиной и вытащил оттуда мусорное ведро и устроил «концерт для ведра с оркестром». Я смеялась.

Когда он ушёл — шаги, остановка на седьмой ступеньке, шаги, — я сидела на кухне и думала про банку, которая выскользнула у него из рук.

* * *

— Я хочу вас увидеть, — сказала я.

Ночь с девятнадцатого на двадцатое. Три часа сорок минут. Мы уже долго говорили — о Шопене, о ведре, о том, что у Зои Павловны шарф дошёл до пола и она теперь сидит, обмотав его вокруг ног, как кошка хвостом.

Я сказала это — и услышала, как прозвучало. «Увидеть».

Я не говорила этого слова с января. Ни разу. Ни вслух, ни про себя. Я обходила его, как яму. Я говорила — встретиться, поговорить, познакомиться. Никогда — увидеть.

А тут сказала. Нарочно.

Тишина в трубке.

Долгая.

— Глеб?

— Здесь.

— Вы молчите.

— Думаю.

— О чём?

Пауза.

— О том, что это значит, — сказал он.

— Это значит — встретиться. Вживую. Не в телефоне. — Я сглотнула. — Я хочу вас… Я хочу, чтобы вы были не голос. Чтобы — вы.

Он молчал.

— Вы не хотите, — сказала я.

— Хочу.

Без вдоха. Сразу. Как будто вырвалось.

— Тогда что?

Он молчал. Я слышала, как он дышит. Как за окном у него — далеко — что-то объявляет вокзал. Как у него в комнате тикают часы — я раньше не слышала, что у него тикают часы. Значит, тихо. Очень тихо.

— Я не знаю, — сказал он наконец, — какой я. Вживую.

— Это как?

— Голосом я — один. Голосом я умею. А вживую… Я не знаю. Может быть, вживую я хуже. Может быть, вживую вы увидите и…

Он запнулся на «увидите». Я слышала.

— И что?

— И разочаруетесь.

Я засмеялась. Не весело. Тихо.

— Глеб, — сказала я. — Вы не представляете, как мало мне нужно, чтобы не разочароваться.

Он не понял. Я знала, что он не поймёт. Я сказала это — для себя.

— Я тоже, — сказала я, — не знаю, какая я. Вживую. Для вас. Может быть, вы тоже… Может быть, я — не то. Может быть, вы придёте — и захотите уйти.

— Не захочу.

— Вы не знаете.

— Знаю.

— Вы меня не видели.

Пауза.

— Мне не нужно, — сказал он.

Я лежала в темноте. Держала телефон. Мне не нужно.

Если бы он знал. Если бы он только знал, как это прозвучало. Для меня. Для человека, которого больше никто никогда не увидит так, как раньше видели, — потому что все теперь видят сначала трость. Потом — глаза. Потом — шрам у виска. А потом уже, если повезёт, если у них хватит сил, — меня.

Мне не нужно.

— Тогда давайте, — сказала я.

— Где?

Я подумала. Я думала об этом три дня. Я знала, где.

— На канатке, — сказала я. — У нижней станции. На Казанской набережной.

Тишина.

— Почему там?

— Вы рассказывали, — сказала я. — Про кабинки. Про «Лена плюс Саша». Про то, что это единственные двенадцать минут, когда вам не нужно никого держать. Я хочу… Я никогда не каталась. Всю жизнь здесь, а ни разу. Боялась высоты. Соня меня звала — я не шла. Я хочу, чтобы вы меня прокатили. И рассказали, что видно. Сверху. Как тому человеку на крыше. Вы же мне рассказывали.

Он рассказывал. Про Виталия. Не всё — без имени, без адреса, без подробностей. Просто: был человек на крыше, и я попросил его рассказать, что он видит, и он рассказал, и спустился. Я плакала, когда он рассказывал.

— Когда? — спросил он.

— В субботу. Двадцать восьмого. В час дня. Вы не на смене, я знаю. Вы в ночь на двадцать девятое.

Он засмеялся. Тихо, коротко.

— Вы мой график лучше меня знаете.

— Знаю, — сказала я. — Придёте?

Пауза. Долгая.

— Как я вас узнаю?

Я сглотнула.

Вот. Вот этот вопрос. Я знала, что он будет. Я готовила ответ три дня.

Я могла сказать: «Я буду с тростью. Белой. Вы не ошибётесь». Это было бы честно. Это было бы просто. Он бы помолчал — и всё понял. И решил бы — прийти или нет. Ещё до встречи. Ещё по телефону. Где он не кладёт трубку первым — и поэтому не уйдёт, даже если захочет. Он бы сказал: «Хорошо». Из вежливости. Из своего правила. И пришёл бы — из вежливости. И я бы никогда не узнала, пришёл бы он, если бы не правило.

А вживую — нет правила. Вживую — можно уйти. Повернуться и уйти. Не кладя никакой трубки.

Я хотела знать. Я должна была знать.

— Я буду с собакой, — сказала я. — С лабрадором. Палевым. Старым. Его зовут Бублик. Вы его слышали. Он будет сидеть у моих ног и вздыхать. Вы его ни с кем не перепутаете.

Правда. Всё правда. Только не вся. Перчатка без пальца.

— Хорошо, — сказал он. — В субботу. В час.

— Вы придёте?

— Приду.

Без вдоха.

Я положила трубку первой. И лежала до утра, и слушала, как сердце колотится — быстро, глупо, как у Шопена, когда Аркадий Львович открывает холодильник.

* * *

— Ты ему не сказала, — сказала Лиза.

— Нет.

— Тая.

— Лиз.

— Он придёт, а ты — с тростью.

— Вот и посмотрим.

— Что посмотрим?

— Уйдёт он или нет.

Лиза поставила чашку. Резко, со стуком. Кольца звякнули о фаянс.

— Ты что, его проверяешь? — сказала она. — Это проверка такая? Тест? Тая, ты с ума сошла. Ты понимаешь, что это… Человек придёт, ожидая одного, а увидит другое — и у него будет секунда. Одна секунда, понимаешь? Чтобы сделать лицо. И если он в эту секунду сделает не то лицо, — а он может, кто угодно может, это не со зла, это просто от неожиданности, — ты всё равно не увидишь, какое у него лицо, но ты услышишь. Ты всё слышишь. И ты потом всю жизнь будешь помнить, какое у него было лицо в эту секунду. Которое ты не видела.

Я молчала.

— Скажи ему, — сказала Лиза. — По телефону. Заранее. Дай ему время. Это честно.

— Это нечестно, — сказала я.

— Почему?

— Потому что по телефону он не уйдёт. — Я говорила тихо. — У него правило. Он не кладёт трубку первым. Никогда. Ни с кем. Он будет со мной говорить, даже если не хочет. Даже если ему противно. Даже если ему жалко. Он будет — из-за правила. Он придёт в субботу — из-за правила. Из вежливости. Из жалости. Как к той бабке, у которой кот застрял на шкафу. А я не хочу из жалости, Лиз. Я хочу — по-настоящему. Или никак.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.